БУДЬ СЧАСТЛИВ, АБДИ!

РОСТОВСКОЕ КНИЖНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

О сегодняшнем дне Африки, рассказывают в книге геолог Валерий Витальевич Закруткин, врач Николай Никитич Китьян и инженер Анатолий Филиппович Корольченко. Все трое — ростовчане, которым довелось побывать с доброй миссией в трех разных африканских странах.

Повесть Юрия Александровича Дьяконова «Пирожок с рыбой» перенесет вас в другой конец Тихого океана — на японские острова. Автор рассказывает о своем участии в войне с Японией.

- Будь счастлив, Абди!
  - От составителя
  - В. Закруткин
  - Н. Китьян
  - Ю. Дьяконов
  - А. Корольченко
- notes
  - 1
  - 2
  - 3
  - 4
  - 5
  - 6
  - 7
  - 8
  - 9
  - 10
  - 11
  - 12
  - 13
  - 14
  - 15
  - 16
  - 17
  - 18
  - 19
  - 20
  - 21
  - 22
  - 23
  - 24
  - 25

- ○ 26
- ○ 27
- ○ 28
- ○ 29
- ○ 30
- ○ 31
- ○ 32
- ○ 33
- ○ 34
- ○ 35
- ○ 36
- ○ 37
- ○ 38
- ○ 39
- ○ 40
- ○ 41
- ○ 42
- ○ 43
- ○ 44
- ○ 45
- ○ 46
- ○ 47
- ○ 48

Будь счастлив, Абди!

От составителя

Первый раз Тольку Жукова, моего соседа по квартире, сняли с поезда далеко от дома, когда ему было девять лет. Потом ему исполнялось 10, 11, 12 лет, и он все упорнее и упорнее лез в поезд, а милиционеры все строже и строже предупреждали Толькиных родителей. Мне было жаль родителей, но я отлично понимала Тольку, когда он рассказывал мне об очередной прочитанной им книге — о Миклухо-Маклае, Афанасии Никитине, Пржевальском. И я знала, что готовится новый побег из дому…

Толька стал большим и уехал в Африку строить Асуанскую плотину. Потом он говорил мне потрясенно: «Ты знаешь, сколько лететь от Москвы до Каира? Ровно 5 часов 30 минут. Если б я знал это раньше…»

Когда мне пришлось взяться за эту книгу, я вспомнила своего друга Тольку Жукова с его неукротимой мечтой о дальних странах, с его нетерпением объездить шар земной и верностью мальчишеской мечте.

В книге вы прочитаете три рассказа об Африке. Почему сразу три?

Нам суждено было заново «открыть» Африку. Наши экзотические представления об этой части земного шара сильно пошатнулись, когда оттуда одна за другой стали приходить вести о национально-освободительных революциях и создании новых демократических государств. Теперь там несколько таких государств.

О сегодняшнем дне Африки, рассказывают в книге геолог Валерий Витальевич Закруткин, врач Николай Никитич Китьян и инженер Анатолий Филиппович Корольченко. Все трое — ростовчане, которым довелось побывать с доброй миссией в трех разных африканских странах.

Повесть Юрия Александровича Дьяконова «Пирожок с рыбой» перенесет вас в другой конец Тихого (Великого) океана — на японские острова. Автор прожил на Дальнем Востоке около десяти лет, участвовал в войне, освобождал захваченные Японией советские земли и теперь захотел рассказать об этом ребятам.

Основную мысль книги хотелось бы передать словами Ильи Эренбурга: «Мир огромен и очень мал. Летишь, летишь, то холодно, то нестерпимо жарко то снег, то океан, то тропические леса, то страшная пустыня, похожая на макет ада, и вот прилетаешь как говорят, на другой конец света, по часам еще утро — на дворе вечер, и оказывается, вокруг тебя такие же люди с теми же сомнениями, радостями, тревогами…»

И хорошо, что на земле с каждым днем все больше становится людей, которые начинают понимать главное: настало время жить по-человечески народам планеты независимо от языка, цвета кожи, вероисповедания; от них, от самих землян, зависит судьба мира, его будущее.

В. Закруткин
В холодной Сахаре

(записки геолога)

9 ЯНВАРЯ 1968 ГОДА

Сахара — это не песок и дюны от края и до края. Сахара разнообразна. На севере, сразу за Атласскими горами, — это розовая и оранжевая армада — каменистая пустыня, слабо всхолмленная, с редкими оазисами, с долинками некогда пересохших ручьев и речушек. Дальше на юг пустыня постепенно желтеет, становясь песчаной. Это безбрежный песчаный океан. Пески барханятся, собираются в холмы, гармошки, а холмы объединяются в крупные горы, состоящие сплошь из песка. С самолета кажется: стань на такую гору, и она осыплется, осядет

под тобой. Горы не округлые. Они ребристые, изрезанные острыми гребнями барханов. Оттенков цвета нет: желтые пески от горизонта до горизонта, желтая дымка и бесцветное небо. И никаких оврагов, никаких долинок — здесь много тысячелетий не было воды, которая перерезала бы эти овраги.

Потом на желтом фоне появляются белые серебрящиеся пятня, напоминающие озера. Это соли: калийные, натриевые, гипсы, ангидриды. Белых пятен становится больше и больше и наконец они сливаются постепенно в сплошное белое, слегка желтоватое или розовое пятно — соляную пустыню. Фабриес, француз-геолог, который меня сопровождает, говорит, что это самое мертвое место Сахары. Здесь нет ничего. Если в песках кипит своя бурная жизнь — есть суслики, шакалы, гиены, лисы пустыни, то здесь, на гладкой бесконечной блестящей поверхности, не живет никто. Даже мух здесь нет. Нет никаких насекомых. Все мертво.

Жак Фабриес рассказывает, что французские орнитологи, занимающиеся перелетными птицами, установили, что ласточки, летящие ежегодно из Центральной Африки в Европу через Сахару, теряют здесь около трети своего стада! Слои соли с миллиардами скелетов ласточек!

Но вот кончается «белое южное безмолвие», появляются пески. Они уже не желтые, как на севере. Они бурые, изредка с пятнами черной крови Сахары — нефти.

Самолет продолжает жужжать на высоте двух километров. И вдруг ты видишь, что земля не только под тобой, но и над тобой: слева вверху плывут горы. Это не те обычные горы, которые мы привыкли видеть на Кавказе, Памире или Алтае. Это не хребты, не цепи вершин, разделенных седловинами или долинами. Здесь какое-то невероятное нагромождение прямоугольных, как небоскребы, камней высотой около трех километров. (Не здесь ли писал первые страницы «Божественной комедии» великий итальянец?). Седловин нет. Каждый трехкилометровый камень не соединяется с соседним. Между ними черные провалы. Долин, ущелий тоже нет. Это зияющие своей чернотой дыры и трещины. Дна их не видно. Черным-черно. Сами горы черные, а трещины между ними еще чернее. В Нью-Йорке в музее Гугенхейма есть картина нашего соотечественника «Белое на белом». Здесь наоборот: черное на черном. Это настоящий ад: на протяжении почти тысячи километров, на протяжении почти четырех часов полета — сплошное нагромождение гигантских черных гор-камней. Они не располагаются волнами, как обычные горы. Они неподвижны. Они застывшие. Кажется, что они стоят недвижимо вечность. И только осыпи из огромных глыб молча

свидетельствуют о том, что время от времени эти мрачные края разрываются грохотом обвалов трескающихся скал.

Это Хоггар. Край черных гор-скал, черного песка и черных длиннолицых туарегов. Мрачный суровый край великих творений Природы.

Самолет начинает описывать круги над посадочной площадкой. С одного раза зайти на посадку невозможно. Машина медленно и осторожно опускается кругами в колодец между скал. (Еще бы не опускаться осторожно, если две недели назад такой же самолет зацепился за скалу и шестьдесят его пассажиров остались под скалой!). Страх считается зазорным. И тем не менее страшно. Просто по-человечески страшновато, когда рядом проносится черная каменистая гора, впереди прямо на пути торчит еще одна, а дальше еще и еще.

Бородатый, немолодой седой французский пилот, очевидно, из асов. Вкрутился по спирали в яму, на дне которой лежит Таманрассет — столица Хоггара, — и мягко коснулся серой бетонной дорожки, полузанесенной желтым песком.

На крохотном домишке аэропорта висит табло: «Таманрассет, высота 1370 метров над уровнем моря».

Прибыли. 13 часов полета позади.

* * *

Витель работает в Хоггаре второй год, точнее вторую зиму. Здесь работают только зимой. Летом тут слишком тепло.

У него английский вездеход, полное снаряжение для работы в пустыне и два человека: молодой француз механик Роже и высокий худой голубовато-серого цвета туарег Таула. Они ждут нас второй день на метеостанции в Таманрассете.

Сейчас они блаженствуют — Таманрассет для них цивилизация. Здесь живут несколько европейцев. Метеорологической и сейсмической станциями заведует Клавель — здоровенный парень с мускулистыми руками, шеей борца, с хриплым голосом и чистыми застенчивыми голубыми глазами. Он изучил Сахару вдоль и поперек, знает ее и любит ее. Шесть лет на метеостанциях! Они с женой гостеприимно принимают нас. Французы везде остаются французами. Даже в Сахаре. На маленьком низком столике вкусные блюда, приготовленные искусной миловидной мадам Клавель, сменяются одно за другим: от кровяного шашлыка из газели до нежных сладких пирогов. Терпковатое красное вино наливается с милой улыбкой из желтой двадцатилитровой канистры. В баре стоит батарея разноцветных

напитков. На полу, рядом с кожаными подушками, на которых мы сидим, у нарисованного на стене камина разбросаны красочные журналы. Медленно крутятся бобины магнитофона, наполненного органной музыкой. Франция! И только открытки от родных и знакомых, пришпиленные к стене, выдают тоску по дому.

Люди хохочут, говорят о новостях, рассказывают новые анекдоты. Никаких разговоров о трудностях жизни, о том, что вокруг на несколько тысяч километров лежит Сахара!

Когда в темноте вышли от Клавелей, Витель предложил зайти вылить зеленого чая с какой-то особой травой. Сели в машину. Проехали несколько кварталов пустынных пыльных ночных улиц. Света нигде нет. Желтый свет фар нашего вездехода медленно ползет по красно-бурым приземистым домикам без окон, окруженным высокими красно-бурыми заборами. Ни души на улице. Въезжаем в переулок шириной чуть пошире машины. Останавливаемся у темного не то домика, не то сарая. Оказывается, здесь живет Таула, рабочий, повар, проводник и верный спутник Вителя. Нагибаясь, входим в черный провал двери. За дверью комнатка без окон. Без пола. Пол — это песок. Крупный, красно-бурый сахарский песок, который здесь повсюду. В комнате темнота. Только краснеющие на полу посреди комнаты угли пустынного кустарника освещают слабым светом четыре глиняные стены, глиняный потолок и песчаный пол. Вокруг углей сидят четыре человека, закутанные с головой в черные бурнусы. Лица закрыты черными тюрбанами. Фигуры неподвижны. Белки глаз, краснеющие в ровном свете углей, неподвижно уставлены в нашу сторону. Сидящие на песке туареги вначале молча кивают, потом на своем гортанном языке приветствуют нас, уступают нам место у костра и снова становятся неподвижными. Садимся на красочный туарегский ковер — постель хозяина дома Таула. Садимся по-турецки и молчим. Так надо. Даем себя осмотреть. Белки глаз на черном фоне медленно движутся. Медленно ощупывают нас.

Хозяин наш гостеприимен. Витель говорит, что у него всегда на полу вокруг костра сидит несколько человек. Все они принадлежат к одному племени туарегов. Это реликты первобытнообщинного строя. Все носят одинаковые фамилии. Все племя насчитывает человек шестьдесят-сто, редко больше. В племени все родственники. И все они родственники нашего Таула.

Две женщины вносят чашку-таз с посудой для чая. Начинается священнодействие — готовится чай. Это длительная процедура. На угли ставится металлический чайник-заварник. В него на разных этапах кипения добавляются из маленьких

мешочков какие-то снадобья, травы, коренья, издающие незнакомые сильные ароматы. Потом чай разливается по маленьким рюмочкам и снова выливается из рюмочек в чайник. Это повторяется многократно. Затем, перед тем как пить, в чайник добавляется последняя щепотка травы и вот излучающий гамму ароматов чай готов. Рюмка, в которую наливают чай, очень маленькая — граммов двадцать — двадцать пять, не больше. И пить его надо медленно, маленькими глоточками. Не пить, а сосать, наслаждаясь тончайшими ароматами, которые, кажется, растворяются *в* каждой клетке твоего тела.

Меньше трех рюмок выпить нельзя. Питье чая — это священнодействие и традиция. После первой рюмки можно говорить. После второй рекомендуется молчать, чтобы осмыслить все то, что сказано тебе до этого. И только после третьей можно уходить. Но вся эта процедура занимает не меньше часа и настолько свята, что даже, если к тебе в дом придет враг, которого ты должен убить, пока он не выпьет третью рюмку, убивать его ты не имеешь права. Отказать в чае невозможно. Туареги очень гостеприимны и поэтому почитают своим долгом, обязанностью в первую очередь напоить чаем.

Кто такие туареги — доподлинно неизвестно. Одни считают, что они относятся к берберской группе аборигенов, другие — что это какая-то романская ветвь, ассимилированная берберами. Они очень высокие, стройные, мускулистые. Кожа темного цвета, как у очень сильно загорелого европейца. Пятки и ладони их такого же цвета, а не белые, как у негров. Лица удлиненные, тонкие прямые носы, иногда с небольшой горбинкой, тонкие, резко очерченные губы, высокий лоб, живые глаза. Волосы черные, густые, вьются слабыми волнами. Негроидного в их лицах ничего нет.

Туареги — кочевники, точнее люди, ведущие полукочевой образ жизни. У них есть, кроме Таманрассета, несколько поселков. Большинство из них глинобитные, с очень толстыми стенами и без окон, очень хорошо предохраняющие от жары. Некоторые поселочки в 10–15 «домиков» построены из сплетений камыша с саксаулом. Всего туарегов что-то около 10 тысяч. В Таманрассете живет 3 тысячи. Остальные разбросаны по Центральной Сахаре. Мир для туарегов ограничен их родным Хоггаром, за пределами которого лежит Сахара. Где-то очень далеко есть далекий и непонятный город Алжир, в котором живут хозяева — арабы. Некоторые знают, что где-то совсем далеко существует Франция (нечто совершенно неясное). Знание мира этим ограничивается.

Таула спросил меня при знакомстве, из Франции ли я. Я ответил, что я русский, из Советского Союза. Ни о русских, ни о

Советском Союзе он никогда не слыхал.

Так и живут эти люди в своем забытом богом краю. Пасут в зарослях верблюдов, поджарых пустынных ослов и худых баранов и коз, стреляют газелей и муфлонов, пьют ароматные настои из колючих пустынных трав и истово молятся аллаху, много раз в день шепчут потрескавшимися губами молитвы, с надеждой глядя в чистое небо. Но великий и всемогущий аллах не много приносит им радостей.

* * *

Дорога из Таманрассета идет по плотному песку долины. Дорога проселочная и каменистая. Иногда попадаются места, где она совершенно занесена бархатным песком. На этот случай вдоль дороги стоят горки черных камней — по ним видно, в какую сторону ехать дальше. Справа и слева торчат бесформенные глыбы ребристых бурых гор-камней и правильные своей геометрической формой, тонкие, узкие конусы вулканов. Вдали, у горизонта, соединяясь, они становятся похожими на непрерывные зубья пилы.

На три дня мы едем к Виталю, в район, где он работает. Едем с целью посмотреть, что он сделал, верны ли его выводы, проконтролировать, что-то подсказать, что-то обсудить. Он второй год работает в этом районе и будет работать еще год-два. Это тема его диссертации.

Года три назад Жорж Витель закончил геологический факультет, работал в Альпах. Потом ему стукнуло 25 лет — это призывной возраст. Он должен был отслужить два года в армии или отработать 3 года преподавателем по специальности в Африке. Зная, что в Алжирском университете работает молодой и энергичный профессор Жак Фабриес, он избрал Алжир и стал ассистентом на кафедре профессора Фабриеса. У Фабриеса не посидишь в удобной квартире столицы, требователен был профессор, да Жорж и не собирался в ней отсиживаться.

Он типичный полевой геолог, Витель. Худ, высок, мускулист. Ни одной лишней жиринки в теле. Руки изодраны царапинами и ссадинами. Колени сбиты. Красный нос облупился. Губы иссечены трещинами. Голова обрита наголо. Физиономия заросла черной негустой щетиной. Большие светло-карие глаза, в которых отражаются все эмоции, открыто смотрят на вас. На лице постоянная легкая приятная улыбка. Витель и его верный спутник Таула понимают друг друга с полуслова. Витель любит туарегов, относится к ним с почтением. Знает неплохо их обычаи и нравы,

немножко говорит по-туарегски.

По горам Жорж скачет, как заправский дикий козел. Тяжеленный рюкзак за плечами, на боку изодранная полевая сумка с картами и аэрофотоснимками, на животе фотоаппарат, в руках молоток.

Я видел геологическую карту, снятую им. Это колоссальная работа. Он встает каждый день с восходом солнца, выскакивает из теплого мешка в леденящее серое утро, вталкивает в себя традиционный французский завтрак, кидает в джип все свое нехитрое имущество и укатывает до вечера. Доезжает джипом до нужного хребта, бросает его и карабкается, карабкается по безжизненным черным и бурым скалам, колотит молотком бесконечные камни, распутывает хитросплетения докембрийских складок и огромных разломов. И так до заката. В шесть вечера, когда солнце скатывается за исхоженные им горы, он спускается к машине и, светя желтыми фарами, гонит машину по желтым песчаным уэдам к лагерю, где Таула ждет его с искусно приготовленным обедом. А он усаживается к костру, клеит этикетки на образцы пород, укладывает их, упаковывает, раздумывает над картой, планирует завтрашний маршрут. Пообедав, закутывается в туарегский теплый бурнус, заматывает голову черным туарегским тюрбаном так, что остаются одни глаза, и сидит некоторое время молча у костра. А потом, поставив раскладушку на ледяной песок, закутавшись во что можно, засыпает мертвецким сном. Ему нечего жаловаться на бессонницу.

* * *

Днем кажется, что солнце светит отовсюду. Температура невысокая (+30, редко +35°). Жары особой нет, духоты тоже. Но влажность, как говорили мне на таманрассетской метеостанции, около 0 %. Все пересыхает в носу, во рту, в горле. Такое впечатление, что твои железы вдруг перестали вырабатывать слюну, и язык прилип к зубам. Кожа словно вышелушенная.

Зато ночью температура обычно минус 5–7, редко опускается до минус 10–12°. Я нигде, даже в Заполярье, так не мерз, как здесь. И постоянный ветер, ветер, ветер. Он пронизывает до нутра. Кажется, даже кости холодные. У костра можно погреться только тогда, когда найдешь несколько поленьев. Но в пустыне они встречаются далеко не всегда. А если встречаются, то сгорают в костре мгновенно — высушены они до предела.

Да, в здешнем климате санатория не построишь! Мало

отпущено природой здешним людям.

* * *

Второй день мы находимся у Вителя. Второй день выходим на рассвете и возвращаемся в лагерь, когда горы чернеют в серебристом свете луны, а в черном небе мигают яркие-яркие звезды.

Песок и камни. Камни и песок. Песок, упругий и мягкий, песок под ногами, песок в ботинках, песок в карманах, песок в спальном мешке, песок на зубах. И камни. Черные или сгоревшие под испепеляющим солнцем, бурые и рыжие. Скалы из камня. Горы из камня. Могилы тоже из камня. Кажется, что черные туареги тоже из камня: босыми черными ногами ходят они по раскаленному дневному песку, босыми ногами ходят они по ночному песку, который холоднее снега. Как каменные изваяния сидят они кружком у костра, закутанные в одинаковые выгоревшие на солнце бурнусы.

Тысячелетия живет это племя в своем каменном Хоггаре. Кто только не пытался их покорить в течение жестокой человеческой истории! И бородатые финикияне с востока, и стремительные наездники арабы с севера, и дикие голые негры с юга. С запада морем приходили самые страшные враги — европейцы и американцы. Самые сильные и хитрые.

Говорят, что гордость — это национальная черта туарегов. Белые, очевидно, поняли это. В рабство туарегов не брали. Не брали потому, что те не выносили рабства. Не выносили рабства не потому, что были слабыми. Тысячелетия они жили в жесточайшей борьбе с природой и выходили победителями. Она уже в их крови, эта борьба. Туареги не могли жить в повиновении. Они умирали. Умирали от тоски по своим трудным краям, от тоски по борьбе. Это единственное черное племя, которое белые не брали в рабство.

Но белые были хитрее черных. Они привозили с собой массу соблазнительных вещей: ружья, с которыми легко было охотиться на газелей и защищаться от гепардов, красивые ткани, сахар и множество других нужных, крайне нужных предметов. Для того чтобы получить это, надо было совсем немного поработать на белого. Так туареги, гордые туареги, постепенно превращались в слуг белых. Однако даже сейчас это племя, вышедшее из неолита совсем недавно, недавно отказавшееся от щитов и копий, не унижается до того, чтобы называть белого патроном, даже сейчас они не стоят униженно в стороне, когда разговаривают белые, а

принимают участие в разговоре на равных.

* * *

Наше пребывание у Виталя закончилось. Фабриес признал работу Жоржа отличной.

Едем к Бертрану, другому ассистенту профессора. Дороги, конечно, никакой нет. Едем зыбучими песками, пробираясь между камнями, которыми усыпаны песчаные долины. Взбираемся на черное плато. Это четвертичные оливиновые базальты. Совсем недавно, несколько десятков тысяч лет назад, здесь из земли рвалась наружу магма. Она вылезала наружу по узким трубкам вулканов и прорывалась по огромным трещинам разломов. Она, эта раскаленная, расплавленная лава, вытекала на поверхность и текла красными пылающими потоками. Потоки объединялись в озера, моря и, застывая, образовывали огромные безжизненные черные пространства, сложенные плотным звенящим камнем. Здесь ничего живого. Даже вездесущие небольшие черно-белые птицы пустыни мула-мула не залетают сюда. Горы, черные горы, здесь особенно скалисты и состоят из огромных ровных столбов (то, что геологи называют призматической отдельностью).

У горизонта резким контрастом на черном фоне безжизненной пустыни маячит высокая белая гора. Это Тан-Афела. Вокруг нее запретная зона — въезд категорически запрещен. Там не стоят часовые. Там только белеют таблички с оранжевыми буквами и полосами. Часовые здесь не нужны. Все равно туда никто не пройдет. Даже самоубийцы. Несколько сотен лет назад мы бы сказали, что там живет злой дух, убивающий людей. Сейчас мы знаем, как зовут этого злого духа. Его зовут радиация. Несколько лет назад в газетах писали о том, что французы взорвали свою первую плутониевую бомбу. Эта штука была взорвана здесь, в глубокой шахте горы Тан-Афела. С тех пор белой горой можно любоваться лишь издали.

Дорога опускается с черного базальтового плато в широченную бурую долину со светлыми змеящимися полосами песков. Долина ведет к высокой крутой горе. Долина ровная, как стол, и наши исполнительные безотказные джипы несутся по ней со скоростью семьдесят километров в час. Мерно гудит мотор, садится на красные физиономии желтая пыль, устало смотрит на дорогу сидящий за рулем Фабриес.

Пейзаж меняется: в конце долины появляется ярко-зеленый цвет, такой неожиданный в блеклых полутонах пустыни.

Ярко-зеленое пятно — это оазис и поселок Идельэс. В

Идельэсе десятка два буро-красных туарегских домиков-сарайчиков с плоскими крышами и без окон, стоящих на солнцепеке у подножия высокой крутой трехглавой скалистой горы. Солнце, бурая пустыня, бурая гора и бурые домики. Между горой и поселком — гордость Хоггара — пальмовая роща и поля местных земледельцев, растящих тыквы, пшеницу, картошку. Все поля орошаются из источника, журчащего под пальмами. Пожилой Абдулла разгибает спину, поднимается над арыком и, отерев о короткие штаны руку, протягивает ее нам. Вяло пожимает руку, устало вопрошает каждого монотонным голосом: «Ça va?» Удрученно качает головой на ответный вопрос с нашей стороны, беспомощно разводит руками и говорит печально: «Ne ça va pas». Проклятые сильные морозы губят и без того чахлые посевы, а дневная жара высушивает замороженные ночью тыквы и картошку. Трудно.

На солнце в песке туареги, закутанные в бурнусы, играют камешками в какую-то игру, разновидность шашек. В отдалении стоят женщины в черном. Из предгорий возвращается караван ослов, везущих дрова — сухие ветки тамариска. На угловом доме, стоящем в начале «улицы», состоящей из шести домиков (по три с каждой стороны), висит табличка: «Rue emir Abdel Kader». И тишина. Тишина. Только из центра поселка доносится ровный голос. Голос этот принадлежит учителю местной начальной школы.

Месье Бареру лет сорок, может быть, с небольшим. Гладко зачесанные назад ровные волосы, темно-красного цвета лицо, разрезанный надвое подбородок и голубые светлые глаза, глядящие твердо и изучающе. Лицо без улыбки. Он просит извинить его, так как у него урок, и через сорок минут приглашает к себе на чашку кофе.

В начале пятидесятых годов молодой учитель начальной школы в Париже месье Барер уехал в Ливийскую пустыню. Влекла романтика. Проработал там несколько лет. Году в 1955-м Барер переехал на постоянное жительство в Идельэс. Выучил туарегский язык, письменность, взял себе в дом женщину из племени туарегов — черную плосколицую некрасивую туарежку, которая родила ему троих детей. Так и живет он уже больше десяти лет почти безвыездно в Хоггаре. Живет по образу и подобию туарегов: дети его настоящие туареги, застенчивые ребятишки, копошащиеся в песке на улице; в комнатах его туарегского дома ничего, кроме ковров и лежанок, нет; здороваясь, он подносит по-туарегски правую руку к сердцу; гостей принимает и угощает кофе на полу, сидя по-турецки. Жена его не сидит с гостями, но он представляет нам ее, — стоящую у входа в комнату, где мы на

коврах пьем кофе; «Мать моих детей».

Барер не опускается до слепого копирования туарегов. Он одет в европейское, в курсе всех политических дел, следит за событиями в мире. Помимо школьных дел, которые он ведет увлеченно, он помогает туарегам советами: что, как и где садить из посевов, лечит новейшими средствами, проводит ирригацию, короче, по возможности, несет культуру людям в этом затерянном в песках уголке. Во Францию его не тянет. Злые языки говорят, что он принял мусульманство. Не знаю. Не похоже. Его знает вся Сахара. Нефтяники, геологи, военные, любители острых ощущений туристы, миссионеры, проезжая неподалеку, обязательно завернут к Бареру. К нему приезжают историки, занимающиеся историей Северной Африки, которую Барер знает феноменально.

Так и живет этот внешне ничем не выдающийся человек, живет полной, насыщенной жизнью, живет простой жизнью труженика.

* * *

Примерно в тридцати километрах от Идельэса стоит лагерь Бертрана. Здесь простираются его пустынные гористые владения. Бертран — полная противоположность Жоржу Вителю. Это здоровенный бородатый парень лет около тридцати. Бородища и огромные висящие усы, а на носу — элегантные дымчатые очки, на безымянном пальце грязной исцарапанной мужицкой руки серебряное кольцо с готической надписью. Бертран самоуверен, упрям, самолюбив. Говорит он медленно, с достоинством. Не говорит — изрекает. За это его Витель и другие геологи зовут Pére Bertrand. И вместе с тем он большой любитель крепкого словца.

Хозяйство его, в противоположность Вителю, продумано до мелочей. Спит он в отличной «двухкомнатной» голубой палатке, все мелочи — от аэрофотоснимков до аптечки — аккуратно разложены по серым металлическим непромокаемым сундукам, в палатке висит яркая газовая лампа. Если Витель ходит в рваном спортивном костюме, то на Бертране брезентовые джинсы и ярко-красная пуховая стеганая нейлоновая куртка. Витель в маршруты ходит в кедах, Бертран — в альпинистских ботинках.

Но… геолог Бертран прекрасный. В нем есть редкое для геолога сочетание: фантазер-теоретик и фанатик-практик. Чтобы подтвердить или опровергнуть свои многочисленные гипотезы, он без устали карабкается, как кошка, по невероятным кручам,

забывая зачастую об обеде и возвращаясь в лагерь далеко за полночь, в полной темноте и с фонариком. Я не могу понять, как при такой манере работать, при таком отчаянном лазании по скалам, как он еще остается в живых. Вчера, например, я шел за ним, когда он начал карабкаться на отвесную скалу высотой метров в сто. Самолюбие не позволило мне отстать, хотя сам я, конечно, ни за что не полез бы по этой скале. Где-то у верхушки, когда не за что было ухватиться руками, я было решил, что пора уже задуматься о том, как ты прожил жизнь. Ан нет. Вылезли все-таки. Все четверо: Бертран, Витель, Фабриес и я.

Откровенно говоря, Бертран замотал нас (и меня в том числе) своими сумасшедшими темпами работы.

Два дня с шести утра и до шести-семи вечера карабкались мы по хребтам Тазруна. Два дня прыгали с камня на камень, пеклись на солнце и клацали зубами под ярко-белой луной в холодной ночной Сахаре. И вот наконец завтра мы отправляемся в кольцевую поездку по Сахаре вокруг Хоггара (около 1400 км). У Фабриеса здесь три отряда: Вителя, Бертрана и Каби. Каби работает в шестистах километрах отсюда, в Танезруфте. Ждем его. Когда он приедет, отправимся всей компанией в этот длинный и интересный путь.

16. I

Вчера приехал Каби из своего мрачного Танезруфта. Приехал на двух машинах со своим механиком Абдурахманом и поваром Шикула. Он сразу наполнил весь лагерь шумом, суетой, весельем, смехом. Кроме того, русобородый, голубоглазый Каби привез канистру красного алжирского «пинара» и бутылку шотландского виски. Каби — интеллигентный, тонкий, остроумный парень лет около тридцати. Он худой, мускулистый и очень подвижный — ни секунды не сидит на месте. Вечно что-то делает, куда-то спешит, вечно поет что-то веселое.

В лагере Бертрана под тамариском собрались шесть машин (два роскошных американских грузовых белых вездехода и четыре белых английских крытых джипа), шесть белых и четверо черных людей.

* * *

17. I

Оставили в Идельэсе один грузовик-вездеход и два джипа. В три часа дня выехали на трех машинах с рацией в длительную поездку по Хоггару. Мы — это Фабриес, Витель, Каби, я, Бертран, механик Роже и двое черных рабочих, они же повара — Таула и

Шикула. Барер на прощание желает доброго пути и говорит, что немногие до нас рисковали на такое путешествие.

Ровно и не очень шумно перебывают идущие рядом по песку машины. Дюны и барханы, морща песчаную поверхность широкого рега, отражают миллионы солнечных лучиков. Пустыня миражит.

Вскоре пески кончаются, начинаются камни. Карабкаемся, сопя моторами, на перевал. Дорога становится узкой. Машины выстраиваются в колонну. Красные лучи заходящего солнца красят горы в лиловые тона, а небо над нами не затрагивают — оно остается синим. Это очень красиво: черные камни перевала, близкие лиловые горы и синее вечернее небо. Привычного нам багрянца нет. Темнеет быстро. Камни, небо и горы сливаются и становятся одинаково черного цвета. Кругом черным-черно. Вдруг впереди идущая машина Бертрана, помигивая красными фонариками, начинает описывать большие круги. Выясняется, что Бертран в темноте потерял нужное направление. Изучение карт и аэрофотоснимков не помогает — все равно вокруг ни зги. Еще несколько километров кружения по ровной, как море, пустыне не приносит успеха. Похоже на то, что заблудились.

Надо сказать, что ощущение это не из приятных — сидеть в центре Сахары и не знать, куда ехать. Упрямый Бертран не хочет останавливаться — едет уже второй час в темноте. Но, очевидно, его упрямство того сорта, которое помогает. Около девяти вечера мы, наконец, разыскали нужный перевал, перевалили его и двинулись медленно на север.

Ночь в Сахаре в полнолуние. Тесная долинка с купой тамариска в центре. Под деревом догорает костер, отбрасывая мерцающие блики на гармошку оледенелого песка. На песке редкие извивающиеся полоски — следы проползших змей, серебрящиеся под яркой луной черные близкие скалистые горы. Холодное небо и холодные звезды, излучающие яркий свет. Тишина. Тишина, которая подчеркивается еще сознанием, что вокруг на тысячи километров такая же мертвая тишина мертвой пустыни.

Ждал, глядя в холодное небо, Маленького принца. Может быть, это было здесь? В этом уэде, у этой колючки?

18. I

За день продвинулись на сто сорок километров. Медленно, буксуя в глубоких песках, поднимались на дюны, спускались с них, тяжелые машины с прицепами ревели, их крутило из стороны в сторону, но они все-таки медленно двигались вперед.

Я еду в самом легком джипе с Вителем и Шикула. Немолодой мудрый туарег уютно дремлет между нами. Витель лихо, одной

рукой ведет машину, почти не смотрит на дорогу и все время рассказывает мне о Франции, о Хоггаре, расспрашивает о России. В темноте люди как-то становятся откровеннее. Медленно движется по песку машина. Мир ограничен двумя желтыми пятнами, которые выхватывают фары из черноты холодной ночи. Я с увлечением слушаю рассказ о далекой и незнакомой мне Бретани, о пене и брызгах морских волн, мерно бьющих в теплый летний берег. Как волны переливается красивая французская речь и забываешь о безбрежной пыльной Сахаре, о скрипящем песке на зубах, о предстоящей леденящей ночи под холодными звездами.

Ночуем среди голой пустыни. Дров нет. Вокруг торчат только редкие колючки. Костра не разжечь. Сидим у раскладного столика, закутавшись в одеяла. Пьем горячее красное вино, подогретое на газовой плитке. А утром из ведра молотком выбиваем толстый слой льда.

18. I

Вечер. Дюны, дюны, дюны. Большие и маленькие. Все одинаковой формы. Все красивые, бархатные. Днем они светлые-светлые. А к вечеру каждый изгиб песка оттеняется черной-черной тенью. К вечеру тени удлиняются, и наконец перед закатом солнца если стать на бархан, то тень твоя, огромная и страшная, как джин из туарегских легенд, потеряется где-то вдали горизонта. Пески становятся к вечеру лиловыми, горы тоже лиловеют. А небо в это время синее-синее. И очень глубокое. Настолько глубокое, что если всмотреться, то видны в синеве неба зеленоватые звезды.

Стали лагерем среди огромного песчаного поля. У горизонта со всех сторон чернеют конусы умерших вулканов и скалистые горы докембрия. Поскольку стоять здесь будем три дня, расположились обстоятельно: поставили палатку. Она большая, но в ней очень холодно. Холоднее, чем снаружи. Спим не в палатке. Ужинаем только в ней.

Солнце село. Луны еще нет. Только черное небо на западе понемногу белеет, предвещая восход луны. Все пятеро только вернулись из маршрута. На бородах и физиономиях слой светлой пыли. Обтерлись полотенцами. Мыться нечем. Воду бережем. Ее у нас на всю гвардию всего 20 канистр.

Холодно стало сразу. В течение часа-полутора температура падает с +20 до -3, -5°. Сразу натягиваем на себя все, что есть теплого.

Неугомонный Роже установил у входа огромную бочку, развел в ней бушующий огонь. Сам улегся снаружи рядом с бочкой на бурнус и читает детективный роман. Таула и Шикула возятся у печи. Все остальные склонились над столом в теплой

палатке. Заросший густой черной щетиной Фабриес сосредоточенно разглядывает панорамические аэрофотоснимки. Посасывая трубку, ковыряет собранные днем образцы, поднеся их к близоруким глазам, Жан Бертран. Что-то скороговоркой бормочет себе под нос непоседа Рено Каби. Позевывает, дописывая в полевой дневник последние записи до безобразия грязный Витель.

Сейчас будем ужинать.

20. I

Вчера вечером заблудились в дюнах в трех километрах от лагеря. Заканчивая дневной маршрут, увидели обнажение, которое оказалась чрезвычайно интересным. Засиделись на нем. Потом, пока собирали всех из разных расщелин, темнота спустилась в долину. Хоть глаз выколи. Желтые фары безотказного джипа светят только метров на двадцать-тридцать. Это крохотное пятнышко. Куда ехать — черт его знает.

На дюны можно подниматься, только разогнав машину как следует. Иначе не взобраться — буксует. Гоняли-гоняли с одной дюны на другую — нет выхода. В конце концов заполошный Каби взял окончательно руководство на себя. Это чуть не кончилось плачевно. Каби, суетясь и разглядывая наспех аэрофотоснимки, орет Вителю, который ведет машину: «Быстрей, быстрей. Жми на тот подъем. Жми. Жми. А то не вытянем! Жми же быстрей. Давай, давай!» Витель жмет на третьей скорости на чернеющий подъем. Что за ним — не видно. А Каби подгоняет: «Жми, жми, жми!» В последний момент я успел заорать благим матом по-русски: «Стой!» И крутнул руль у растерявшегося Вителя. Машина стала намертво. Впереди в тридцати-сорока сантиметрах у передних колес дюна стометровой высоты обрывалась крутым обрывом. Где-то далеко внизу тоненько шуршал осевший с крутого бугра песок. Как водится в таких случаях, постояли несколько секунд молча. Потом также молча, хорошо понимая друг друга без слов, разошлись в разные стороны искать выход из проклятой песчаной ямы. В укор Каби никто не сказал ни слова.

Я шел по твердому холодному волнистому песку дюны в темноте сахарской ночи и думал о том, как иногда сближают людей трудности. Не нужно лишних слов, не нужно объяснений. Каждый знает, что ему нужно делать. Вот бы хорошо было бы, если бы трудности сближали всегда. И не только в Сахаре.

21. I

Какой идиот придумал историю о том, что в Африке геологи работают в белых костюмах, на белых пони, в белых перчатках и со стеком? Нет здесь аристократов и пижонов. Здесь такие же трудяги, как и у нас в Каракумах, Якутии или на Алтае. У них

такие же натруженные руки, такие же избитые в кровь ноги, такие же багровые шелушащиеся рожи, такие же выгоревшие рубашки, болтающиеся лохмотьями, такие же наспех неумелой рукой зашитые дыры на коленях и на ягодицах. Одна и та же манера таскать молоток и рюкзак. И песни у неяркого пламени ночного костра такие же грустные. Одни и те же слова в тоске по близким. И самое главное — один и тот же фанатизм.

Мне нравятся отношения Фабриеса со своими аспирантами. Фабриес — профессор, научный руководитель Бертрана, Вителя и Каби. Фабриес — человек, от которого зависит судьба их диссертаций и вообще дальнейшие судьбы этих троих. Но перед ним никто не заискивает, не поддакивает угодливо. Фабриес здесь не имеет никаких льгот. Он такой же полевой геолог, как и остальные. К нему не бегают с разными вопросами. И он не одолевает подопечных своей опекой. Все на равных. Все обсуждается. Идеи Фабриеса критикуются и раскритиковываются с такой же горячностью, с какой разносят идею любого другого. Мнения Фабриеса подвергаются публичной проверке и обсуждению, как мнения любого другого. В этой компании авторитет только один — аргумент. Если у тебя нет аргументов, то будешь независимо от ранга и положения положен на обе лопатки и высечен публично.

Отсюда следуют равные отношения друг к другу, полные взаимного уважения. Нет людей, которые не делают глупостей. Здесь осуждаются не люди — глупости. И это не влияет на отношения к человеку. А вообще же здесь стараются как можно меньше осуждать.

21. I

Как мы мало знаем Сахару! Точнее, совсем не знаем ее. В отличие от представления обывателя, как разнообразна она. Трудно себе, например, представить лес в пустыне. Лес в Сахаре! А ведь они существуют, эти леса. Это огромные массивы низкорослых серо-зеленых безлистных игольчатых тамарисков. Они встречаются редко. Но это не оазисы с их буйной растительностью, с их яркой и темной зеленью, с их высоченными пальмами. Это тем более не теряющиеся в поднебесье русские мачтовые леса. Леса тамарисков, прижатые к сухой раскаленной песчаной почве, — это типичные леса (или рощи) пустыни. Они ее и только ее порождение. И они, эти разлапистые, неровные, искореженные тамариски, здесь, в желтых дюнистых песках, не лишены своеобразной прелести. И это леса. Настоящие леса! Так же как и все леса мира, они сохраняют ночную прохладу, так же как и все леса, они пахнут деревом и в них под ногами потрескивают сучья и, как во всех лесах мира, в них водятся

зайцы. Сегодня серый косой, прижав уши, большими прыжками быстро улепетывал от меня, выскочив из тамарисков на песок. И от этого русака как-то сразу повеяло домом, запахом полыни, нашей степью и русским духом. Боже мой! Как далеко отсюда все то, что именуется родиной. Здесь, в центре Сахары, где легендарные туареги гортанно говорят на своем языке многотысячелетней давности, где все диковинно и необычно, вдруг оказался наш радёмый русак!

* * *

Около десятка лет назад французское Бюро геологических изысканий BRGM, проведя большие работы, сняло карту (геологическую) всего Хоггара — это около полутора миллионов квадратных километров. Колоссальная территория, занятая докембрием, — древнейшими на земле отложениями. Но самое удивительное то, что на всем этом огромном пятне докембрия на французской карте не оказалось никаких полезных ископаемых. Это невероятно, так как все подобные пятна, называемые щитами, довольно богаты полезными ископаемыми. Отсутствие руд в Хоггаре заставило задуматься профессора Фабриеса и его беспокойную, жаждущую поразмыслить компанию. Но только мыслить для геолога еще мало. В. А. Обручев говорил, что геолог, помимо головы, должен иметь еще и ноги. Для того чтобы проверить данные карты BRGM, нужно исходить тысячи, если не десятки тысяч трудных километров. В Хоггар выехали трое аспирантов. Каждый из них занимается детальнейшим образом своим участком Хоггара. Но для того чтобы забираться в детали, нужно хорошо представлять общее. Поэтому Фабриес и решил предпринять этот маршрут, эту двухнедельную экспедицию, в которой мы жаримся и коченеем уже неделю. Первые результаты уже есть: в карте BRGM много неточностей, а зачастую просто липы. Посмотрим, что будет дальше.

* * *

Сижу у палатки. Пишу. Роже, копошащийся у вездехода, кричит, спрашивает, который час. Я ему отвечаю, что уже полдень. Шикула, услышав, что уже полдень, оставляет горящей плиту, на которой варится обед, отходит на несколько десятков шагов от лагеря в пески, поворачивается лицом к востоку, становится на колени, руки упирает в колени. Поднимает глаза к

небу и громко с минуту-две выкрикивает слова молитвы. Потом он вытягивает руки, кладет их ладонями на песок, опускает голову к песку, лицом вниз, и застывает в такой позе примерно на минуту. Потом он резко поднимается, подворачивает под себя левую ногу, садится на нее и снова поднимает просительно глаза к небу. Сидит несколько времени молча. Все. Молитва окончена. И так три раза в день: на восходе, в полдень и на закате.

Они очень набожны, туареги. Впрочем, как и все мусульмане. Они абсолютно не едят свинины, не пьют ничего спиртного, даже пива, свято соблюдают посты. На стенах их убогих жилищ развешаны отпечатанные и написанные от руки молитвы из корана, фотографии и красочные картинки на религиозные темы.

21. I

Утро. Сборы. Меняем лагерь, верно прослуживший нам две ночи. Еще на полторы сотни километров на север. Там — чарнокиты, к которым я так рвусь, ради которых поехал в Сахару.

Роже, наш механик, он же завхоз, он же администратор, человек с кипучей энергией, заканчивает сборы. Все увязывается, притягивается, прокладывается мягкими вещами. Поближе укладываются длинные лестницы и полосы грубого брезента — последняя надежда на случай буксовки: сегодня предстоит трудный путь через пески.

Культура человека проявляется не только в том, что не утираешься рукавом, пропускаешь вперед женщину и играешь на память Моцарта. Здесь, в шестистах километрах от ближайшего поселка, в центре пустыни, Роже закапывает в песок мусор, консервные банки, бумажки, кости и прочее. А бутылки ставит на кочку — авось когда-нибудь кому-нибудь пригодятся.

Каби кричит по-туарегски: «Ин шалла» (С богом). Пора трогаться.

21. I

Вечер. Хоггар кончается. Горы расступаются. Из песков торчат лишь одинокие черные пики. Пески пожирают, точнее, погребают горы. Пески оказываются сильнее. Но сильнее всего в пустыне ветер. Он разрушает горы. Он превращает их в мельчайшие песчинки. Он рассеивает их по Сахаре. Вся Сахара — это рассеянные частички гор. Он, наконец, создает свои горы — огромные, желтеющие на фоне голубого неба. Это эрги — огромные горы песка высотою до двухсот — двухсот пятидесяти метров. Они протягиваются на десятки километров, эти безжизненные песчаные горы. Они неравные, ребристые: их тело изрезано кривящимися барханами, которые отходят от верхушки эрга, извиваясь как щупальцы осьминога. Эрги — это почти та Сахара, которую мы представляем себе в далекой России. Кроме

пресмыкающихся, в эргах нет никаких животных. Над эргами и вокруг них всегда «кривится» воздух, создавая невиданные впечатляющие миражи. То тебе начинает казаться, будто песчаная гора висит в воздухе — это мираж. То вдруг рядом с эргом ты видишь яркую зелень пальм, листья, колышимые ветром, и высокие стволы — это тоже мираж. Вода — это ординарно. У подножия эрга всегда видится огромное озеро. Голубое и слегка волнистое. С желтыми ровными берегами. И это тоже мираж.

Туареги, кроме аллаха, верят еще и в джнунов (джинов). Они считают, что в эргах живут только злые джнуны, которые сначала дурачат человека, потом лишают его памяти, а после этого оставляют его в страшных эргах. И нет человеку выхода оттуда.

Старый черный Шикула, говоря о злых джнунах эргов, понижает голос и с опаской косится на эрг, медленно уходящий назад за стеклом ползущей машины. Но он не знает, старый верный Шикула, что кости, белеющие *в* эргах, — это не кости туарегов, лишенных разума джнунами. Это старые кости их далеких-далеких предков — людей палеолитических стоянок. Это они жили у подножий эргов (а может, и не было тогда еще эргов); это они жгли костры, уголья которых можно раскопать в песке; это они вытачивали из белого мягкого мрамора с кровавыми каплями граната неуклюжие фигурки, источенные временем и ветром; это они оставляли после себя свои устрашающие орудия — яшмовые наконечники копий и стрел. Это они, наконец, шестым чувством тянущиеся к искусству, высекали на высоких черных скалах Тассили свои динамичные рисунки — быков и человечков, охоту и мирные танцы.

Обо всем этом рассказывал мне учитель из начальной школы в Идельэсе, месье Барер, посвятивший свою жизнь туарегам и Сахаре.

* * *

Туарегам деньги не нужны. Им нужны верблюды. Верблюды — это жизнь. Верблюд — это молоко. Верблюд — это шерсть для теплого бурнуса. Верблюд позволяет передвигаться по Хоггару, охотиться на газелей. Верблюд — это пища. Верблюд — это, наконец, огонь, так как без верблюда не притащишь из далекого уэда высохшее дерево тамариска. Верблюд — это вода. На нем можно привезти много-много воды в мягких бурдюках из газельих шкур.

У старого Факи, с коричневым лицом, усталыми умными глазами и белыми седыми усами, у старого Факи, зябко

завернувшегося сейчас в свой выгоревший, некогда зеленый, бурнус, было четыре верблюда. Дней десять назад три из них ушли. Факи сел на оставшегося четвертого, такого же старого, как и он сам, погрузил на него свой нехитрый скарб и бурдюк с водой и отправился по следам на поиски. Следы уводили его все дальше и дальше. Горы становились все ниже и ниже: верблюды ушли в пустыню. Факи ушел уже на шестьсот километров от Таманрассета, оставив в четырехстах километрах ближайший поселок — цветущий оазис Идельэс. Верблюдов не было. А вчера утром он заметил, что бурдюк с водой протерся обо что-то острое, и вся вода вытекла капля за каплей на сухой песок Хоггара. Надо было поворачивать назад. Два дня он уже без воды. «Старое тело не может уже выдержать так долго без воды. Раньше, когда был молодым, не пил по пять дней. Раньше мог, сейчас — нет», — хрипит старик, глотая мелкими глоточками чистую воду из нашей ярко-красной большой эмалированной кружки. Он зашивает, латает свой прохудившийся бурдюк. Мы наливаем его доверху холодной, искрящейся в закатных лучах солнца водой. Старик обнимает двумя руками пухлый тяжелый бурдюк и долго сидит без движения на холодеющем вечернем песке. Он плачет. Редкие слезы стекают по его коричневым щекам, оставляют полоски на слое светлой пыли, покрывающей его красивое темное лицо, и теряются в белых-белых больших усах.

Завтра надо самим где-то добывать воду. Осталось мало.

22. I

Среди желтой пустыни стоит черный высокий холм. Глаз постепенно свыкается с этим сочетанием — желтое и черное. И вдруг в теле черного холма — огромный белый, извивающийся причудливыми складками пласт мрамора. А в мраморе крупные капли крови — кристаллы граната. (Так вот откуда палеолитические люди брали камень для своих фигурок!). Белый мрамор с красными округлыми гранатами на фоне черного холма. Сказка! И снова очередное «вдруг»: белый мрамор рассекается травянисто-зеленой жилой диопсидита. А в нем скопления голубого кальцита. За поворотом — новая вспышка красок, за ней другая, третья, десятая. Это невиданный мир, невиданные сочетания красок, непередаваемая красота, созданная бесконечно разнообразной природой.

* * *

Задул ветер. Он дует сильно, с редкими. Очень резкими вспышками-порывами. Верхняя часть поверхности пустыни

поднялась в воздух. В воздухе пыль от горизонта до горизонта, уходящая далеко ввысь к бесцветному небу, к блеклому пятну бесцветного солнца. За этой пыльной атмосферой негреющее солнце светит холодно, как луна. Песок везде: на зубах, в волосах, в ботинках, в спальном мешке. Пыль. Песчаная пыль. Она режет глаза, сечет блошиными укусами лицо, руки. От нее нет спасения. Она везде. Хочется залезть в мешок, закутаться и забыть о ней. Но в мешке тоже песок. Ветер закручивает песок и колючки сухих пустынных растений в спиральные вихревые столбы, и эти столбы быстро передвигаются по ровной поверхности уэдов. Они чернеют у горизонта и кажется, что они подпирают серое мглистое небо. Температура резко упала и даже днем стоит чуть выше нуля. Ночью палатку ставить нельзя — сорвет. Спим под кочками, заслоняющими хоть немного от ветра. Спим, закопавшись в ледяной песок, — там хоть нет ветра. Спим в двух спальных мешках, закутав голову одеялом.

Костер развести нельзя — его моментально разносит. Едим холодные консервы. Пьем виски, чтобы согреваться. Проклятая ледяная пустыня Сахара!

* * *

Фабриес в Алжире второй год без семьи. Он очень скучает по жене и шестилетней дочке. Проезд в родную Тулузу очень дорог. После лекций в университете домой идти не хочется. Дома пусто. Неуютно. Вот и просиживает он в университете за микроскопом с раннего утра до позднего вечера. Как ни проходишь вечером мимо — все в его кабинете горит свет.

Сегодня я спросил у Фабриеса, вытаскивавшего из полевого рюкзака пригоршни вишневых гранатов, для чего ему столько? Он замялся, а потом ответил: «Видите ли, месье Закруткин, я всегда привожу дочке красивые камни из экспедиции. И сейчас тоже мне не хочется нарушать эту маленькую традицию». Он помолчал. Потом добавил, вздохнув: «Скучаю я по ней и по жене. Сильно скучаю».

И все это было очень понятно, очень по-человечески, очень близко мне самому. И от этого профессор Фабриес как-то сразу перестал быть профессором Фабриесом, а стал Жаком Фабриесом, человеком со слабостями, склонностями, привязанностями.

И я тоже вытащил из чемодана маленький мешочек с крупными вишневыми гранатами и ершистыми друзами горного хрусталя. И сказал, кому это предназначается.

* * *

Сейчас вечереет. Сегодня стали лагерем рано. Часов в пять. Перед нами извивается цепь гор Эджэрэ, позади — ровные, как терраса, горы Тассили. Стали рано потому, что у Роже от грузовика отцепился прицеп и он его потерял. А в прицепе все продукты, остатки воды и посуда. Сейчас Роже и Таула поехали искать пропажу. Попутно должны заехать в одну из долин хребта Эджэрэ, поискать там воду. Говорят, там есть крохотный источник.

Сидим ждем воду и ужин.

Жрать хочется зверски.

* * *

Сижу один у костра. Остальные — в палатке. Кто-то тронул меня за плечо. Обернулся. Стоит фигура в бурнусе. Из-под тюрбана видны только глаза. А из-под бурнуса торчат босые ноги. Что-то говорит на своем непонятном языке. Показываю, что не понимаю. Он подносит пальцы ко рту. На общепринятом международном языке это означает: «Дай закурить». Достаю сигареты. Берет две штуки и произносит знакомое мне слово «танумерт», что по-туарегски значит «спасибо».

По-французски маленькая фигура из ночи не знает ни слова. Поэтому кричу, зову Таула. Он приходит. Начинается оживленная беседа, из которой я, конечно, не понимаю ни слова. Он сидит у костра час, другой, маленький кочевник туарег. А потом снова уходит в черную-черную ночь с яркими звездами в холодном небе.

Вот так-то. В центре Сахары ночью подходит к тебе человек, просит закурить. У него нет дома. Он не знает простейших вещей: стола, стула, стен, крыши. Это кочевник. Он идет босыми ногами по мерзлому песку. Идет медленно, спокойно, как по паркету. Он оставляет следы на песке. Если бы не было этих черных следов, высвеченных моим ярким фонариком, можно было бы подумать, что это ночной мираж. Или эдакий туарегский вариант Маленького принца.

А в следах медленно оседают песчинки, гонимые ночным ветром. Они постепенно заносят следы. К утру их не будет.

24. I

Снова в путь. Впереди двести километров до горы Джинов.

Роже на грузовике поехал вперед, а мы на двух джипах остановились у высокой белой мраморной горы, рассеченной по

диагонали пластами белого мрамора различных оттенков. Справа к горе прислонен гладкий желтый бархан. Подниматься в гору трудно. Она очень крутая. Спускаться легче — сел на свою пятую точку и катись в клубах поднимаемого песка. Бертран с Вителем так и поступили, чем доставили большое удовольствие сидящему внизу Шикула.

* * *

24. I

Вечер. Относительно легко прошли ущелье: только дважды пришлось разбирать завалы камней. А потом…

Потом неслись в течение двух часов со скоростью семидесяти километров в час. Ровная, как стол для пинг-понга, пустыня, присыпанная мелкими камнями, утрамбованными временем, уходила на юг от высокогорного Тассили. Долго неслись к югу, а высокие желтые скалы все не скрывались за горизонтом. Как огромные средневековые замки, мрачные и неприступные, венчали они вершины гор.

За два часа пронеслись расстояние, которое рассчитывали проехать за шесть-семь часов.

Из-за бугра неожиданно показались газели. Они стояли и смотрели, повернувшись настороженно в нашу сторону. Потом сразу резко, все пятеро, понеслись по гладкой пустыне. Они неслись всей стаей очень грациозно, прижав рога к спине, вытянув носы вперед и почему-то помахивая короткими хвостиками.

Роже, рядом с которым сидел Таула (у него единственное ружье на всю нашу экспедицию), резко отвернул в сторону руль, увеличил скорость и, подскакивая на кочках, понесся вдогонку. Издали вначале казалось, что газели уходят от машины — больно уж легко и грациозно неслись они. Но расстояние медленно сокращалось. Сто метров. Пятьдесят. Таула поднял ружье. На белом фоне машины хорошо виден издали черный высунувшийся ствол ружья. Тридцать метров. Далеко вдали слабой хлопушкой прозвучал выстрел. Газели продолжали нестись. Мы ждали второго выстрела. Его не было. Машина начала сбавлять ход. Газели уходили. Вдруг одна из них пошла медленнее, оторвалась от стада. Теперь она почему-то бежала по большому кругу. Бежала все медленнее, медленнее. Перешла на шаг. Остановилась. Постояла несколько мгновений. Потом упала. А белые хвосты стада газелей уже далеко-далеко, где-то у черных гор.

Несколько дней назад Фабриес сказал, что он не любит охоту. «Я не сентиментален, но вид убитого животного убивает во мне всякое желание охотиться», — объяснил он.

— Бросьте ваши рассуждения кисейной барышни, — вмешался Каби. — Вы не вегетарианец и знаете, что едите убитых кур, баранов, выращенных для убийства. Вы облизываете пальчики после съеденной куропатки. Вы мужчина и должны понимать, что это железный закон жизни: мы должны убивать животных для того, чтобы питаться. Я убиваю спокойно, с сознанием того, что это необходимо. А раз необходимо, значит это хорошо.

Спор продолжался долго. Но спорящие к единому мнению тогда так и не пришли.

Раненая газель лежала вдалеке. Из подъехавшего грузовика вышел Таула. Джипы не приближались. Таула перерезал газели горло. Темно-желтый глаз лежащей на боку газели начал лиловеть. На сухом белом песке расплывалось красное пятно.

Ни Витель, ни Фабриес, ни Бертран не подошли к тому месту, где лежала газель. Все сидели в джипах, отвернувшись. Каби стоял за машиной и делал вид, что пристально рассматривает что-то в противоположной стороне, в горах.

Вечером ели свежую газель.

* * *

Таула разносит крохотные рюмочки с традиционным туарегским чаем, приготовленным из каких-то немыслимо душистых пустынных трав. Он пахнет немножко дымом костра, дымом сухого таллаха, немножко мятой. В общем же, это ни с чем не сравнимый аромат, аромат пустыни.

Кстати, о Таула.

Есть люди, которых не представляешь без природы. Вывези такого человека в город — и он зачахнет. Таков и Таула. Люди, подобные ему, обладают каким-то особым чувством, которое позволяет им по совершенно непонятным и незаметным признакам и приметам находить дорогу. Я наблюдал это у оленеводов-эвенков, у пастухов-казахов, у сибиряков-охотников, у скотоводов-малинке в Гвинее, у жителей джунглей и степей, тайги и саванны, тундры и пустыни. Таула тоже уверенно протягивает свой запыленный палец и молча кивает — дескать, езжай туда. В адском нагромождении камней, в котором французы сегодня с картой и аэрофотоснимками не могли сориентироваться, Таула уверенно повел всю нашу маленькую

экспедицию. Потом он объяснил, что лет двадцать — двадцать пять назад он проходил здесь, разыскивая верблюдов. Но там ведь никаких гор, никаких ориентиров не было — каменный хаос! Объяснить, по каким именно признакам он сориентировался, Таула не мог. Он удивленно пожал плечами и сказал: «Но это же было видно!»

Да, насколько мы, жители городов, обеднены в сравнении с такими людьми. Лишенные зрения называются слепыми, лишенные слуха — глухими. Нет названия для людей, лишенных чувства природы.

26. I

С каждым днем убеждаюсь все больше в том, что наши представления об Африке вообще и о Сахаре в частности очень недалеки от представлений некоторых французов о России: «О-ла-ла! Россия! Это нечто запорошенное снегом, где всегда стоит страшный мороз». Примерно так же мы представляем себе Сахару: это нечто песчаное, большое, где ничего не растет и где никто не живет (может быть, только змеи и ящерицы). Как это далеко от действительности! Вот уже около двух часов едем по широкой петляющей долине. Дно ее желтое, а стены лиловые. Горы, кругом горы. Лиловые горы выветренных гранитов. Лиловые махины голубого камня, которому около трех миллиардов лет. Там, в горах, все мертво; лишь ветер гуляет по ним. Вверху голубое небо. А внизу… внизу в долине зеленеют тамариски, сереют колючие таллахи, желтеет трава. По растрескавшемуся дну долины, где полтора месяца назад бурлил поток от наводнения, огромный поток, тащивший огромные камни лиловых гранитов, теперь сквозь трещины в высохшем иле лезет, пробивается жизнь. Мелкие зеленые травинки заполняют мелкие черные трещины. Их уже много, этих травинок. И серое дно уэда не кажется уже серым: тут и там в тени тамарисков и кочек, в тени таллаха и высокой желтой травы зеленеют яркими красками пробившиеся новые травы. И это не оазис! Это одна из многих зеленеющих долин.

Я не знаю, сколько здесь газелей, но от машины они шарахаются стадами. Когда машина показывается из-за поворота, они вначале все одновременно поворачивают головы к машине, как загипнотизированные глядят своими желтыми глазами на появившееся чудище и остаются неподвижными несколько секунд. Потом одновременно бросаются наутек. Шарахаются вначале в разные стороны. Потом собираются вокруг своего вожака, несутся, подрагивая своими светлыми хвостиками-обрубками, и быстро скрываются где-нибудь в овраге или за поворотом.

Время от времени от машины улепетывают смешные темно-серые головастые и ушастые горные ослы. Размашисто убегают, с достоинством неся свое некрасивое тело с маленькой головкой, одногорбые верблюды. Поджав хвост, все время оглядываясь, бегут шакалы. В темноте фары останавливаются на мгновение на омерзительной скалящейся гиене. Цокают копытцами по звонким фонолитам муфлоны с огромными закрученными рогами.

Здесь нет львов и тигров, леопардов или волков. И потому спокойно пасутся на бесчисленных нетронутых человеком пастбищах эти мирные животные. Здесь прямо-таки рай для животных. Особенно таких неприхотливых, как верблюды — они ведь могут питаться такими колючками, которые не в силах осилить, пожалуй, даже стальная мясорубка.

Этот рай называется Деин.

* * *

От подножия горы Джинов до Деина проехали около двухсот «столбиков», как говорят французы. Дорога была все время неплохой, кроме шести-семи километров у въезда в Деин. Мягкий песок, смешанный с крупными непреодолимыми камнями. Опять лестницы, брезенты. Опять оттаскиваем глыбы в стороны, расчищаем путь машинам. Опять мокрые от пота, опять пристает к потному телу песок. Опять задыхаемся, выталкивая на бугор машины. И… опять шутки, опять хохот, опять веселые подтрунивания. Молодцы ребята! Никто не теряет присутствия духа, никто не отчаивается, не вешает носа. Никто не ноет о безмерной усталости, о растертых мелкими песчинками ногах, о боли в плечах, в набухших мышцах, о трещинах на губах, о рези в глазах. Никто не стонет от холода, не жалуется на жару. Наоборот, все трудности встречаются шутками, все трудности сопровождаются улыбкой. И от этого запоминаются не трудности, а улыбки.

Так и двигаемся метр за метром, километр за километром. Шутка за шуткой, улыбка за улыбкой.

Ну, а работа! Работают эти ребята поразительно. От восхода до заката солнца — как заведенные. То и дело слышны удивленные возгласы маленького щуплого непоседы Каби: «О-о! Собака! Посмотрите!», «Глядите, какая собачья жила!» Ум его подвижный, острый. Он все время что-то домысливает, выискивает.

Бесстрашно карабкается на немыслимые кручи мрачноватый неповоротливый Бертран. Раза три в день останавливается,

вытаскивает из рюкзака трубку и кисет с табаком. Молча глядит на голубеющие горы и выпускает из себя голубой дым. В такие минуты его лучше не трогать: Жан-Мишель-Луи мыслит. Он приносит из маршрутов рюкзак образцов, который не поднять двоим, и голову, полную новых идей. С каждым маршрутом, с каждым отбитым образцом проясняются геологические прояснения в его большой бритой грязной бородатой и очкастой голове. А вечером он садится у костра и снова дымит своей трубкой. Сейчас его тоже лучше не трогать: он далеко отсюда. Бертран сейчас в пригороде Парижа, где у него жена с восьмимесячным сыном.

Вчера мы возвращались из маршрута вместе. Зная его мрачноватость, я не рассчитывал на оживленную беседу. Тем более на откровенность. Прошли молча километра три. Вдруг Бертран, не поворачивая головы, буркнул: «А у меня дома сын. Восемь месяцев. Не видел его половину его жизни. Тяжело». И продолжал так же, как и прежде, идти тяжеловатой походкой с опущенной головой. Допекло человека! Не машина ведь!

Лихорадочно картирует свой район Витель. Скрупулезно наносит на карту малейшие изгибы пластов, детально измеряет оси всех складок. Его излюбленные слова — это слова Вегмана: «Когда другие обсуждают, я измеряю». И он измеряет, измеряет. Идей у него много, но из них нужно выбрать единственно верные. А для этого нужны факты. И Витель снова и снова измеряет. Он может отстать от всех, свернуть в сторону, пробежать бегом пару километров, чтобы замерить какой-нибудь очередной шарнир. И снова замерять шарниры по маршруту. А вечером, когда все оживленно говорят о чем-нибудь у костра (а французы в большинстве своем говорят только оживленно), Витель сидя засыпает, уютно завернувшись в свой видавший виды бурнус. Тоже ведь не машина — человек.

Карта, которую составляет группа Фабриеса, яркая многоцветная геологическая карта части Хоггара, почти закончена. Осталось уточнить некоторые спорные моменты. Карта, надо сказать, получается отличная. А на старой карте BRGM Бертран, Витель и Каби нашли много ошибок и просто недобросовестных оплошностей.

В общем, работа подвигается к концу.

27. I

Между горой Джинов и песчаным уэдом на пологом горном склоне стоят четыре стены, сложенные из угловатых больших камней. Между стен — яма. Ветер обточил уже камни. Многие из них стали округлыми. Эти стены, укрывающие яму от ветра, — дом доисторического человека. В яме туареги выкопали скелет.

Потом приехали ученые, забрали скелет и сказали, что он очень древний.

Много-много тысячелетий назад в голой стране, которая, наверное, не была тогда голой, жили далекие-далекие предки туарегов. Море тогда еще только отступило с территории нынешней Сахары, и ветры, очевидно, еще не успели превратить ее в пустыню. Только что отгремели взрывы четвертичных вулканов, оставивших много крепкого черного камня, из которого можно было строить жилища. Кто знает, разрушило ли время крышу, превратив ее в прах, или просто ум наших предков не поднялся до таких сложностей, как перекрытия, — во всяком случае создается такое впечатление, что дом тех, от кого произошли современные туареги, не отличался изысканным комфортом: это яма, обнесенная неровными каменными стенами. В яме и сейчас еще часто находят самые примитивные орудия: заостренные камни, наконечники стрел, топоры. Куда делись эти люди — неизвестно. Являются ли они прямыми предками берберов вообще и туарегов в частности — тоже неизвестно.

И вот мы снова в Идельэсе…

Лет около ста тридцати — ста сорока назад жившие всегда замкнуто кочевники-туареги (вернее одно из небольших туарегских племен) осели в долине, где было несколько постоянно источающих воду родников. Туареги построили свои глинобитные домики-коробочки без окон и стали обживать полюбившееся им место. Постепенно они утрачивали свою воинственность. Кто-то бросил на плодородную землю косточки от съеденных фиников. Спустя десятилетия у источников зеленели финиковые пальмы. Потом стали сеять пшеницу, кукурузу, выращивать картофель. Появились фиговые деревья. Поселок с садом, получивший название Идельэс, разрастался. Сейчас это большой поселок, в котором живут 400 человек. Учитель месье Барер улыбается: «Со вчерашнего вечера уже 401».

Сад и огороды Идельэса — это гордость всего Хоггара. Около четырехсот гектаров посевных площадей. Но не нужно забывать, что это все-таки не черноземы Украины. Трудно себе представить, сколько усилий потратили человеческие руки, чтобы получить те урожаи, которые выращивают здесь сегодня.

Тяпками, мотыгами и лопатами выстроена грандиозная оросительная система. За ней следят денно и нощно. Вода здесь — золото. Источник дает четыре литра воды в секунду. А на поля доходит только два литра. Остальное пожирает жадная песчаная почва. Поэтому систему орошения проложили не в низинке, а повыше, где почва глинистая. Но туда, «где повыше», ее, воду, нужно поднять! Для этого местные изобретатели «изобрели»

быка, который ходит по кругу, водит водочерпальное колесо, дающее медленно, но верно воду в каналы. Каждая семья должна отработать сутки в месяц на орошении. Сутки без устали трудолюбивые туареги перебегают от одной земляной перемычки к другой, пропуская воду в нужный арык и перекрывая арыки.

Но оросить землю — это еще полдела. Надо, чтобы это была земля, а не белый песок. И люди мешками таскают плодородную глину со склона горы, смешивают ее с песком. С миллионами мешков перетасканной земли пришел опыт. Сейчас туареги не просто таскают глину с горы. Они предварительно пробуют ее на вкус, нюхают, растирают между пальцев, а потом решают, нести ли эту землю под кукурузу, под помидоры или под пшеницу. Да, теперь, когда уже многое сделано, когда уже понемногу можно начинать пожинать плоды трудов предыдущих поколений, урожаи для здешних районов баснословны: пшеницы здесь собирают примерно шестнадцать-двадцать центнеров с гектара!

Министерство сельского хозяйства Алжирской республики выделило в этот пустынный район трактор с механиком. Но трактор вскоре сломался и стоит уже третий месяц без движения, а механик сбежал. Снова пошли в ход лопаты и мотыги. Мэр Идельэса, двадцатичетырехлетний, традиционно закутанный в бурнус туарег, с традиционно закрытым лицом, все-таки доволен. Он считает, что трактор — это первое проявление социализма в Хоггаре. Он так и говорит, слегка приспуская с лица тюрбан и оглядываясь при этом, нет ли вокруг женщин: трактор — это социализм.

* * *

Мы ночуем в Идельэсе. Гостеприимный месье Барер приглашает всю нашу компанию к себе. В полутемной большой комнате, где горит на подоконнике керосиновая лампа, а на полу лежат туарегские красочные шерстяные ковры, нет никакой мебели. На стенах висят три репродукции, вырезанные из журналов: «Рождение Венеры» Джорджоне, пейзаж Коро и картина Пуссена. И портрет молодого Ф. Ницше.

Усаживаемся на полу, застеленном коврами. Нас человек пятнадцать. Кроме геологов, два молодых араба учителя местной школы-интерната, механик суданец Абдурахман, мэр Идельэса и несколько зашедших на огонек туарегов.

Приносят два огромных таза (каждый литров по 25–30) с туарегским блюдом кус-кус. Это нечто вроде толстой и короткой лапши с очень острым и резким запахом, политое красно-бурым

соусом. Все прибывшие голодны, как звери. Поэтому в полутьме в полном молчании раздается только частое клацанье ложек о края таза и жадное чавканье невероятно грязных и пыльных людей. Пьем красное алжирское «Монсера». Мусульмане не пьют.

Потом следуют второе и третье блюда. Разморенные сытным обедом и непривычно (за последние три недели) теплой комнатой, мы почти засыпаем. Выясняется, что в комнате, где мы обедали, не поместится на ночь более пяти человек. Меня приглашает к себе ночевать туарег Шакари. Беру свою раскладушку и спальный мешок и иду к нему. Дом как дом: окон нет. Пола тоже. Вместо пола песок. Посреди комнаты краснеют угли догорающего огня. Песок от огня теплый. Коричневые глинобитные стены тоже теплые. С непривычки, с чистого морозного сухого воздуха, немного режет глаза от дыма костра. Но Шакари приносит традиционный пустынный ароматный чай в маленьких рюмочках, по комнате распространяется душистый запах сухих трав и медленно растекается в воздухе дурманящий аромат, вырывающийся из носика кипящего на костре синего эмалированного закопченного чайника-заварника. Глаза слипаются. Но три рюмки надо медленно, очень медленно просмаковать, — таков обычай. Гостеприимный и внимательный, как и все знакомые мне туареги, улыбчивый Шакари предлагает мне после второй рюмки забраться в мешок и «подать мне чай в постель». Измотанный трудным днем, разморенный теплом, в полусне не могу отказаться от настойчивого предложения любезного и милого хозяина. Забираюсь в мешок. Шакари протягивает мне маленькую рюмочку зеленого чая с ароматом сахарских трав. Крохотными глотками смакую этот горячий аромат. А хозяин садится на песок рядом с моей раскладушкой и начинает петь речитативом какую-то свою тягучую песню. Я спрашиваю его: «Шакари, о чем ты поешь?» Шакари на ломаном французском старается передать слова этой старинной песни туарегов о любви. У него ничего не получается, он бессильно машет рукой и говорит: «Лучше слушай песню». Дрожащие звуки песни смешиваются с голубоватым дымом угасающего костра, с немыслимыми запахами незнакомых трав, с какими-то сказочными воспоминаниями. Глаза закрываются. Я уже не вижу ни слабо мерцающих красных углей, ни их отблесков на черном блестящем лице хозяина. Я мучительно стараюсь понять: сон это или явь. На какие-то секунды здравое мышление восстанавливается и я задаю себе вопрос: правдоподобно ли это — ночью, в доме туарега, в глухом туарегском поселке, в таинственной и неизвестной стране туарегов? Успокоенный мыслью о том, что это малоправдоподобно, засыпаю…

28. I

Утром просыпаюсь от тихих приглушенных голосов: вокруг костра в комнате сидят в голубых и зеленых бурнусах туареги, пьют чай, тихо переговариваются и с любопытством смотрят на мою заспанную физиономию. Видя, что я продрал глаза, они дружелюбно вопрошают. «Ль'абэс!» («Все в порядке!»). Вылажу из мешка, заматываю как всамделишный туарег голову шешем (тюрбаном) и подсаживаюсь к костру. Улыбчивые люди, не говорящие по-французски, пытаются приветствовать меня. Один наконец выжимает из себя: «Бонжуралей-кум». Мне ничего не остается, как, подавляя хохот, ответить: «Алейкум бонжур!»

Снова ставятся традиционные рюмочки чая. Мне подвигают пачку сахара, на которой написано; «Сахар» (по-русски) и «Made in USSR». Вот встреча! Снова травы распространяют по комнате свои ароматы. Снова говорим о простых нехитрых вещах (говорим с трудом через переводчика Шакари). Снова где-то подсознательно возникает ощущение неправдоподобия всего происходящего. Но открывается дверь, входит запыхавшийся Роже и говорит своей скороговоркой, что все готовы и ждут меня. Пора двигаться. Прощаюсь.

И снова зудит мотор, снова трясется на камнях машина. Едем колонной в четыре джипа, каждый из которых поднимает столб пыли. Роже, Таула, Абдурахман и Шикула поехали другой, более короткой дорогой. А мы должны пересечь вулканическое плато, чтобы посмотреть молодые вулканы (молодые в геологическом понимании). Впервые за три недели пути едем по дороге. Правда, слово «дорога» очень мало подходит к этой узкой полоске, с которой убраны крупные камни, а на широких песчаных регах, где можно ехать в любую сторону, чернеют кучки насыпанных камней, указывающие, куда надо ехать. Раз в неделю, а то и реже по этому пути проходит машина из Идельэса в Таманрассет.

Выкручивая на немыслимых поворотах, поднимаемся в гору. На высоте немногим более двух тысяч метров начинается вулканическое плато. Где-то далеко внизу желтеет плоская равнина, на которой лиловеют и голубеют редкие нашлепки гор. А впереди… впереди только один цвет — черный. Черные лавы повсюду: внизу, в долинах плато, на самом плато и вверху, на холмах, которыми бугрится плато. Черные камни повсюду — от горизонта до горизонта. На этом черном фоне солнце кажется особенно белым и особенно слепящим. Стороны каменных глыб, обращенные к солнцу, разогреты и раскалены. А в тени мелкие редкие лужицы (следы давних дождей) сохраняют ночной ледок. Каменный черный хаос вулканического плато рассекается изредка еще более черными зияющими трещинами — каньонами. Даже

под ярким солнцем все черно вокруг. Никаких других цветов. Черный. Черный. Только когда разобьешь глыбу черного базальта, в нем видны искорки редких, довольно крупных бутылочно-зеленых кристаллов оливина. Они полупрозрачны и искрятся на солнце, переливаясь всеми цветами радуги.

На плоской черной равнине вулканического плато, тянущегося более ста километров, высятся пики, туареги называют их пальцами вулканов. Это не обычные стратовулканы, которые курятся у нас на Камчатке и которые мы привыкли видеть на фотографиях. Это не те вулканы, которые блестяще сняты отважным Гаруном Тазиевым в фильме «В пасти дьявола». Эти вулканы не имеют привычной конической горы, кратера — отверстия, из которого вытекает жидкая лава.

Здешние вулканы относятся к вулканам так называемого пелейского типа. Они отличаются очень вязкой; тестоподобной лавой, быстро затвердевающей и закупоривающей выход на поверхность. Такая пава во время извержения не вытекает из кратера, а медленно лезет вверх гигантским столбом (как паста из тюбика). Она тут же застывает, превращается в твердый камень и не позволяет подниматься рвущейся вверх еще не застывшей лаве из нижележащего подземного вулканического очага. Если образовавшаяся пробка способна выдержать давление подпирающей лавы, то на этом образовании столба над поверхностью извержение заканчивается. А если нет… Если нет, то и гору, и столб взрыв разносит в пыль. После такого взрыва, например, в 1907 году вулкан Мон-Пеле и лежащий у его подножия городок тоже были превращены в пыль. И эта пыль в верхних слоях атмосферы растеклась вокруг всего земного шара. Солнечные лучи отражались от этих слоев атмосферной пыли, и еще долго жители Средиземноморья засыпали в не привычные черные звездные ночи, а в рассеянном свете белых ночей.

Вот что такое здешние вулканы пелейского типа. Они торчат огромными «пальцами» километровой высоты. Этими черными и белыми пиками (французы их называют питонами) утыкано все черное высокогорное плато. Абсолютная высота их от 2500 до почти 3000 метров. Они совершенно неприступны. Стены их отвесны, и нельзя придумать им более образного названия, чем туарегское название «палец». Это именно гигантские черные пальцы, направленные куда-то в белесое небо.

Все здесь необычно, в этом диком краю. Поверхность столбов-вулканов ребристая, как коринфская колонна. И кажется, что эти коринфские колонны подпирают небесный свод. А камни, куски застывшей лавы, иссине-черной или голубовато-серой, издают особые звуки. (Эти породы называются фонолитами, от греческих

слов «фонос» — звук и «литос» — камень). Фонолиты звенят. Звенят на разные лады: мелкие камни тоненько и мелодично, крупные — как большой соборный колокол протяжно и басовито. Когда машина, кряхтя, натруженно перекатывается по фонолитам, то из-под колес несется причудливая неземная мелодия. Эта мелодия вырывается из-под колес, наполняет веселыми и траурными звуками все ущелье, возносится куда-то вверх и долго еще звучит где-то у верхушек вулканических ребристых колонн.

А может быть, в каждом ущелье, в каждом камне действительно живет туарегский джин! Тогда они вовсе не злые, как изображают их туареги, а, наоборот, очень веселые и музыкальные парни. Они даже, очевидно, не лишены эмоций: их мелодии звучат весело и бравурно, пылко и зажигательно. Только в некоторых звучит какая-то тягучая нечеловеческая тоска. Другие полнятся легкой грустью.

А может, это и не джины? Может быть, как говорил однажды маленький Шикула, это поют души погибших туарегов, души каменных людей, живущих в этих каменных суровых краях! Может быть. И я вспоминаю красные угли голубеющего дымом костра на полу туарегского дома и звенящие звуки тягучей песни, которую пел вчерашней ночью сидящий у моей кровати Шакари.

* * *

29. I

Интересно, какие чувства будет испытывать москвич, видящий туарега в его своеобразном костюме, медленно едущем на верблюде в часы пик по улице Горького?

Приблизительно те же чувства я испытал вчера в центре черного безжизненного вулканического плато, по которому наши безукоризненные всепроходящие джипы ползли с трудом. В центре этого плато мы увидели фигуру загорелого парня в шортах, черных модных очках, с рыжей, аккуратно подстриженной бородой и с трехлетним малышом на плечах. Парень спокойно шел нам навстречу. Мы с Фабриесом вытянули головы вперед, застыли на несколько секунд. Потом непонимающе посмотрели друг на друга. Фабриес выронил из пересохших потрескавшихся губ сигарету и прохрипел: «Чертовщина какая-то! Ничего не понимаю!» Я тем более не понимал ничего. Изумленные, подъехали мы к парню. Тот оскалил желтые прокуренные зубы, поднял в приветствии руку и сказал ординарным голосом: «Хелло!» За большим камнем стояла

крохотная (поменьше нашего «Запорожца») ярко-красная элегантная машинка. А из-за поворота показалась такая же, вторая двухместная, крохотная ярко-желтого цвета, из которой вышла молодая дама, коротко стриженная, одетая в светлые брюки и светлую нейлоновую куртку. Парень по-французски не знал почти ни слова. Жена его с сильным акцентом начала отвечать на наш град вопросов.

Они итальянцы. Проехали на своих машинках всю Северную Америку, от Аляски до Флориды, о чем красноречиво говорила надпись на красном фиате: ALASKA. А теперь решили прокатиться по Африке, о чем тоже гласила надпись на желтом фиатике: SAHARA. Но… Сахара не Америка с ее трансконтинентальными шоссе. Они выехали из Таманрассета вчера на рассвете. На тридцатом километре у миниатюрного фиатика что-то отказало. Они провозились целый день с машиной и к вечеру им что-то удалось сделать. Вдобавок ко всему выяснилось, что техническая эрудиция парня позволила ему что-то прикрутить проволокой и на этом все его знания механики были исчерпаны. За сегодняшний день они проехали еще километров тридцать, но снова что-то не ладилось, теперь уже со второй машиной. Каби открыл капот, поковырялся там пару минут и вынес приговор: у вас до безобразия перетянут ремень динамо. Парень был страшно благодарен и, осмелев, обратился еще с одной просьбой. Кое-как объяснил, что хотел: «Видите ли, месье, у меня полон багажник запасных частей к этим машинам, но я не знаю, какую из них куда нужно приставлять и присоединять. Не могли бы вы мне в этом помочь разобраться». Не глядя на всю воспитанную поколениями французскую галантность, вся наша компания разразилась громовым неприличным хохотом. Ну, как еще можно было прореагировать на это признание?! Тоненько попискивал миниатюрный Каби, низко ржал Бертран, трясся в хохоте, вытирая слезы, Фабриес, закрыв лицо руками, закатывался Витель. Когда успокоились немного, помогли нерадивым и легкомысленным итальянцам.

Мадам в это время играла с ребенком в маленький мячик. Мячик закатился под низкую машину. Подлезть под машину нельзя — слишком низко. Палки в пустыне не валяются. Заводить машину и сдвигаться с места мадам не хотелось. Поэтому мне пришлось взять легонькую машинку за передок, повернуть ее на 90 градусов, достать мячик, снова поднять машинку и поставить ее на место. Мадам восторженно рассыпалась в любезностях. «Я всегда была франкофилкой и всегда считала французских мужчин самыми галантными. Теперь я буду говорить, что французы еще и самые сильные», — льстила мне черноглазая итальянка.

Мне ничего не оставалось, как ответить: «Я искренна завидую Франции, которая имеет таких очаровательных почитательниц. Я тоже считаю французов галантными. Но я должен огорчить мадам. Я не француз. Я русский. Советский, русский».

Мадам ответила: «Знаю, знаю. Вы, французы, еще и самые большие юмористы и шутники».

Французы, внимательно слушавшие с улыбками разговор, стали убеждать мадам, что я действительно русский. Она не верила. Я заговорил по-русски. Она все еще колебалась. Тогда пришлось полезть в машину, достать из полевой сумки свою «краснокожую книжицу» и показать ее мадам. Она округлила глаза и быстро затараторила по-итальянски, переводя своему супругу разговор. Тот прореагировал также выпученными глазами. «Русский коммунист в центре Сахары!» — итальянцам казалось это невероятным.

А французы хохотали.

Потом мы объяснили беспечным путешественникам, что такое Сахара. Мы объяснили им, что свои запасные части к идиотским драндулетам они израсходуют на первой же сотне километров. Мы объяснили им, что здесь нет заправочных колонок и мотелей, что автомеханики не ожидают их в каждом уэде, что дорога, которая им кажется ужасной, — это лучшая трасса Хоггара, что дальше пойдет дорога, которая мало подходит для прогулок с ребенком. Дальше мы хором ударились в физиологию и стали разъяснять пижонам, что для того чтобы жить, надо пить. А холодильники с кока-кола сахарской природой еще не созданы. Словом, мы все их отчитали, как школяров. Но мы тратили время зря. Безумцы вбили себе в голову, что они пересекут Сахару.

Распрощались мы благопристойно.

Но когда машина тронулась, Фабриес разразился руганью. Он орал: «Нет, вы мне скажите, где они работают? На какие средства существуют и совершают свои идиотские вояжи? Они же миллионеры, капиталисты! Сволочи, транжиры! Кретины! Тащить ребенка в Сахару! Нет, вы подумайте! Не знать, куда „присоединяются“ части от машины! Не взять с собой бензина! А! Вам нравится!! Нет, как вам это нравится!! Ребенка в Сахару! На малолитражках! Маменькины детки! Нет, вы все-таки скажите, вы видели когда-нибудь подобных идиотов? Так к вам отвечу! Вы не видели и не могли видеть подобных идиотов! Такие идиоты — редкость даже в нашем мире дураков! Это феномен!»

Он долго еще не мог прийти в себя, темпераментный южанин Жак Фабриес. Казалось, успокоившись, он вдруг снова бросал руль, бил себя по ляжкам и вскрикивал: «В Сахару! А?! В Сахару в

каретках! В красненьких и желтеньких! Ну, погодите, Сахара вам покажет!» И снова всматривался в дорогу, в нелегкую каменистую дорогу. И яростно крутил руль.

Забегая вперед, скажу, что в Таманрассета мы узнали, что итальянцы доехали до Идельэса только на одной машине. Еще бы! Как говорил Фабриес, Сахара платит за легкомыслие.

* * *

Я не знаю, великий ли он, могучий ли он, но без него очень трудно жить, без русского языка. Три недели! Три недели — и ни слова по-русски! Тяжко!

30. I

Мы сделали свое дело в Хоггаре. Витель имеет теперь представление и об окружающих районах, Каби и Бертран, что называется в геологии, «сбили контакты», т. е. привели свои карты к общему знаменателю. Фабриес, трудяга Фабриес, отдал ребятам все, что мог отдать — знания, опыт. Ну, а я по мере сил и возможностей разделял с Фабриесом его труд. Много полезного и я и он вынесли из этой совместной работы.

Работа окончена. Окончена экспедиция. Мы с Фабриесом улетаем из Таманрассета самолетом в Алжир.

А Витель, Бертран и Каби остаются еще на пару недель. Доделать кое-какие дела, обычные послеэкспедиционные дела: привести в порядок все собранные образцы, упаковать их и отправить в Алжир, закончись геологические карты, сдать всю амуницию, автомобили и т. д. Витель, наверное, вернется еще к своим гранитам — он считает, что не разобрался еще окончательно в сложных докембрийских структурах своего района. Думаю, что не усидит в Таманрассете и Каби. Он пока еще никому не говорит о своих планах, но сегодня утром я видел, как он, оглядываясь, заправил все баки своего джипа. В нем, в непоседе Каби, особенно ярка двойственность, присущая любому геологу: в экспедициях, вдали от цивилизации, он мечтает о доме, о встрече с близкими, о теплой чистой постели и об ароматном кофе. А дома, лежа в белоснежной постели, прихлебывая ароматный кофе, слышит сквозь полудрему топот газельих копыт, видит голубеющие горы, вздыхает, вспоминая чистый морозный воздух предрассветного утра. И он уехал, милый непоседа, большой труженик, фантазер и выдумщик, Рено Каби. Поздно вечером он постучал ко мне в комнату, вошел на цыпочках и полушепотом, смущаясь, заявил: «Я решил уехать, месье Закруткин. Надо еще кое-что посмотреть, кое-что доделать. Я не

хочу говорить это всем, чтобы не вызывать излишнего брожения умов. Начнут говорить, дескать, кому нужны эти жертвы. А это не жертва. Просто еще в Танезруфте очень много геологических загадок. Я знаю, что всего сразу не решишь, все узлы не развяжешь, но я хочу все-таки кое-что попытаться сделать. Сегодня ночью пришли хорошие мысли. Надо потрогать кое-что своими руками. Через пару недель уже будет трудновато: задует песчаный ветер — не поработаешь. Вот я и решил на две недели вернуться в поле. А сейчас я зашел попрощаться и пожелать вам счастливого пути. Прощайте, месье Закруткин. Говорить „прощайте“ всегда немного грустно. А сейчас особенно. С вами легко работалось. И песен вы много знаете. Русские, кажется, говорят, „спелись“ (он говорит это по-русски). Вот мы с вами спелись. А песню всегда жалко прерывать. Прощайте». И он, как всегда, быстрыми мелкими шагами уходит к машине. Резко вскидывается на сиденье, джип рвет с места и через несколько минут далеко на ночной дороге, ведущей в гору, только маленькой точкой помигивает красный фонарь джипа.

Бертран должен ехать машиной из Таманрассета прямо в Алжир. Это около двух с половиной тысяч километров. Из Алжира — через Средиземное море — в Марсель. А оттуда восемьсот километров поездом до Парижа. Он уже готовится к встрече с цивилизацией: сменил красную нейлоновую залатанную пластырем куртку, сбрил бородищу, вчера полдня парился, покрякивая, под душем, смывая четырехмесячную сахарскую пыль, а вечером огромным охотничьим ножом даже начал наводить маникюр на своих лапах молотобойца. Мысленно он уже в Париже с восьмимесячным сынишкой.

Утром, попыхивая трубкой, он подошел ко мне, молча поднял в приветствии руку. Постоял рядом. Поглядел на розовеющее предрассветное небо. Потом, не вытаскивая трубки изо рта, спросил:

— А где Каби? Я его не видел вчера вечером.

Я рассказал ему об отъезде Рено. Он выпустил в раздумье несколько голубых тучек из трубки и откуда-то из-за дыма сказал:

— Я так и думал. — И спокойно, как о давно решенном, добавил: — Поеду и я.

Развел руками и, как бы оправдываясь, прорычал своим простуженным и продымленным басом:

— А какого черта я буду сидеть в этом туристском Таманрассете?! Что, мне больше делать нечего! Все дела я здесь сделал. Поеду к себе в Тазрук. Там под тамарисками у меня хороший лагерь. Померзну еще недельку. Доделаю кое-что. А после — в Париж. Эх, Париж, Париж…

Он ушел в дом. Попрощался с Фабриесом, Вителем и Роже. И через несколько минут снова стоял рядом со мной у порога. Он протянул несколько оттисков своих статей о Хоггаре и буркнул, как всегда, проглатывая слова:

— Вот. Может, прочтете когда. Может, пригодится. А вообще как память. Может, вспомним друг друга, а? Ну, желаю счастья.

Машина его, оказывается, была готова еще вчера. Крепко пожимая руку, поглядел несколько секунд из-под своих дымчатых очков прямо в глаза. Медленными тяжеловатыми шагами спустился к машине. Трогаясь, выпустил очередное облачко дыма из своей вечной трубки, улыбнулся своей редкозубой улыбкой, поднял руку ладонью к нам, стоящим на крыльце. И голубой дымок трубки смешался с медленно оседавшей желтой сахарской пылью.

Мы, улыбнувшись, понимающе переглянулись с Фабриесом. А Витель, всегда улыбающийся, деликатный Витель, готов был сожрать, испепелить нас своим взглядом. Ведь это из-за нас он сможет уехать только завтра в свои просторные уэды Текшули. На рассвете он отвезет нас за пятнадцать километров на аэродром и, радостный, свободный, напевающий, с верным Таула поедет снова носиться по желтым долинам Текшули, карабкаться по черным скалам Ифрака.

Во и все. Разъехались те, с кем прошли немало трудных километров за этот месяц. Вначале они были для меня французами, иностранцами, людьми из другого теста. А потом стали обычными трудягами. Их много можно найти, таких, «кто дерзает, кто хочет, кто ищет». Их можно найти во многих уголках нашего большого неустроенного мира. Там, в этих уголках, очень холодно или очень жарко, там много газелей или оленей, там, в этих уголках, скрипит под ногами сухой песок или хлюпает вода на оттаявшей вечной мерзлоте, там ветер бросает в глаза пыль или снег, там раскачиваются сосны или пальмы, там нежно и легко струятся следы экваториальных змей или тяжело вдавливаются в сыпучий снег следы полярных медведей. И там всегда тишина. Там нет писем от близких, там не передвигаются на колесах, винтах или крыльях, там ходят всегда по звериным тропам и испытывают искреннюю, ни с чем не сравнимую радость от встречи с Человеком. Там и ищите этих людей с молотками. И независимо от того, на каком языке они говорят — мягко грассируют или издают гортанные звуки, — все они носят молоток одинаково.

* * *

Самолет медленно и низко летит над Хоггаром. А я думаю о тех, кто живет в желтых песках, между черных скал.

Много-много сотен лет назад в центре Сахары, вдали от других людей, жили туареги. Это были высокие белые люди, одетые во все голубое. Они пасли стада овец, кочевали в желтых сахарских песках и поклонялись своим богам. Не беда, что богов не было — туареги их придумали. Придумали и сохранили простых человечных богов в старинных красивых легендах. Они жили очень замкнуто, эти голубые[1] люди: они не знали, что есть на свете люди кроме них, туарегов. А о них слагали сказки, слагали легенды о таинственных голубых людях, живущих в желтых песках, о людях, до которых невозможно добраться, так как нет пути через Сахару.

А потом… потом другие, сильные люди все же пришли через Сахару. Их было огромное множество, смелых и злых людей, прошедших через пустыню. И через пустыню их вели не сказки и легенды, а злость и жадность. Они пришли, чтобы угнать стада голубых людей, а их самих превратить в послушное стадо, пришли, чтобы разрушить легенду.

И туареги, голубые мужчины туареги, вышли им навстречу, чтобы защитить свои стада, свои жилища, своих женщин. Но враги были сильнее и их было больше. И разбитые туареги бежали к своим женщинам. Тогда собрались женщины, высокие белые туарегские женщины, вышли к врагу и разбили его. С тех пор мужчины, покрывшие свои головы позором, закутывают их, пряча лица в черном тюрбане. Это уже не голубые люди с тонкими лицами, а голубые мумии с лицами, упрятанными в черное.

И перестали туареги быть людьми из красивых сказок, потому что вошли они в злой мир, который жил по жестоким законам: хочешь жить — убей. И они убивали. Из шкур быстрых газелей они делали большие щиты, длинные тяжелые мечи держали они в своих сильных мускулистых руках. И убивали других людей этими длинными тяжелыми мечами. А оставшихся в живых брали в рабство. Они пригоняли через пустыню тысячи черных рабов, прошедших по раскаленному песку за их верблюдами длинный путь от берегов зеленого Нигера. Черные рабы пасли скот и делали большие щиты, черные рабы несли на потных спинах воду и волочили колючие ветки таллаха. А черные женщины рожали тоже черных детей. И не стало больше белых туарегов в голубых бурнусах. Сейчас туареги черные. Белыми остались только старые забытые боги.

А самолет все летит над Хоггаром. За круглым иллюминатором старенького «Дугласа» медленно уплывает назад

Хоггар. Так же, как и месяц назад, медленно плывет он подо мной. Но теперь это уже не хаотическое нагромождение дантова ада. Теперь это не незнакомая настораживающая и пугающая мертвая пустыня. Розовеют в лучах восходящего солнца черные мрачные скалы. Светлеют между ними песчаные ущелья. В памяти встают знакомые очертания гор, и глаз привычно высматривает в каньонах-провалах гельты с живительными блестками воды. Уже не кажутся непонятными оспинами черные точки тамарисков. Уже не видятся безжизненными желтые равнины уэдов. Уже не вздрагиваешь и не хватаешься за фотоаппараты при слове «туареги». Туареги… Они остались там, внизу, лукавый Таула и старый плачущий Факи, черный рассказчик Шикула и гостеприимный хозяин Шакари, согнутый крестьянин Абдулла и маленький молчаливый кочевник, сидевший ночью у моего костра. Для меня они уже не сказочные голубые туареги с красочных красивых открыток, где они сфотографированы с устрашающими мечами, где их тело прикрыто большим щитом, а лица — черным тюрбаном, с открыток, где сахарское небо и бурнусы одинаково голубые. Это для скучающих туристов. Глядя на эти открытки, может сложиться унылое впечатление о том, что страшные загадочные туареги с утра до вечера позируют перед объективами, время от времени аккуратно снимая пылинки с халатов небесно-голубого цвета.

Но я-то видел их бурнусы! Какого они цвета? Да выгоревшего! Как солдатские гимнастерка или рубашки геологов.

Я просил показать мне туарегский меч. Но у туарегов нет мечей. Я просил показать мне туарегский щит. Но у туарегов нет щитов. Я не видел их. Зато я видел мотыги туарегов и их каналы, из которых они поят верблюдов и пальмы, детей и пшеницу, сады и картошку. Зато я видел четыреста гектаров пустыни, на которые земля принесена с гор в мешках. Четыреста гектаров земли, принесенной на худых мускулистых спинах! Зато я видел женщин, несущих ежедневно за многие километры тяжелые ветки сухого таллаха. Зато я видел, как плачет седой старик с библейским лицом, черный старик с белыми усами, нашедший воду. Зато я видел, как спят туареги, закопавшись в ледяной песок ночной Сахары. И я видел их ноги, ступающие по раскаленному добела песку. И я знаю, что вся жизнь этих людей в этом обездоленном краю — легенда. Легенда о вечных тружениках нашей планеты — Земли.

* * *

… степной травы пучок сухой,
он и сухой благоухает…

Он лежит у меня на столе, сухой пучок невзрачного пустынного такмезута. Я втягиваю его терпкий запах. И встают в памяти ночные костры из жаркого таллаха, черные в голубой дымке горы Хоггара, яркое южное небо с россыпями зеленеющих звезд, бесконечные просторы уэдов и холодный сухой воздух, летящий навстречу. И снова кожа не чувствует холода, а мышцы усталости. И снова хочется идти дальними дорогами, видеть над собой безоблачную синь и впереди — приближающиеся горизонты, слушать тихую песню сухого ветра, ощущать, как сила наполняет все клетки твоего тела, и думать о том, что эти короткие мгновения останутся навсегда в твоей душе как праздник, который всегда с тобой.

Почему праздник! Может быть, потому, что хоть на короткое мгновение удалось ощутить, что в мире, как прежде, есть страны, куда не ступала людская нога, где в солнечных рощах живут великаны и блещут в прозрачной воде жемчуга!

Может быть, нашему веку не хватает неоткрытых земель?

Может быть, слишком спокойны наши души, а нам нужны загадки и опасности?

Может быть. Кто знает…

Н. Китьян
Встречи у экватора

ЗАУДИТУ

Двенадцать провинций Эфиопии расположились на восточной окраине Африки. Эритрея дает Эфиопии просторный выход в воды Океании через Красное море. Жаркий, муссонный климат создал на ее территории сочный и многообразный растительный мир. Впадина Афар, прикрытая с севера грядой гор, — одно из самых жарких мест на земле. Плодородные саванны пересекаются дебрями сикомор, канделябрового молочая, веерных пальм, а по берегам рек стоят тесными рядами баобабы. Мохнатые, лесистые склоны гор опоясали страну почти замкнутым зеленым кольцом. Всюду видны фиолетовые пики вершин.

Здесь рождается Голубой Нил. Падая жемчужными каскадами из озера Тана, он уходит в раскаленные пески Судана и Египта,

наливая плоды финиковых пальм медовым ароматом. Почти не тронутые человеком, саванны Эфиопии покрыты плодородным красноземом. Бесчисленные стада зебу, увязая в сочных травах, бродят по просторам прерий. Первозданная природа таит в себе огромные богатства ископаемых: золото, платину, медь, каменный уголь и нефть.

Древняя страна с многовековой культурой представляет большой интерес для этнографов, историков и археологов: ее культура словно замерла еще задолго до нашего летосчисления. И только в последние десятилетия сюда стала проникать буржуазная цивилизация.

Но эта цивилизация несла не только завоевания человеческой мысли, а и порабощение, разруху, колониализм.

В результате Эфиопия сложилась в государство с удивительно странными и подчас уродливыми формами социального устройства. Первобытнообщинный строй, не успев погибнуть под натиском феодализма, бытует рядом с возникшим капитализмом.

Страна с двадцатимиллионным народом (крестьяне, зарождающийся пролетариат и интеллигенция) составляет Амхарскую империю, руководимую императором. Национальный состав Эфиопии чрезвычайно многоязычен и пестр. Помимо пятнадцати основных наций, составляющих население страны, имеется множество мелких племен, говорящих на собственных языках и диалектах. Извечная борьба за существование и капиталистическая эксплуатация образовали здесь клубок общественных противоречий.

Трудно будет работать нашему, советскому, врачу в этой сложной обстановке, где приходится считаться с бытом, нравами, всеми особенностями социального строя и своеобразием природных условий. Во всем этом нужно разобраться, найти подход к людям, правильно и ясно передать им цели своей работы.

Советская больница Красного Креста расположилась в одном из лучших зданий Аддис-Абебы, любезно предоставленном нам эфиопским правительством. За бетонными стенами трехэтажного корпуса с широкими проемами окон стоит наша отечественная аппаратура новейших марок.

… В больнице тихо. Вот сестра переходит из палаты в палату, разнося медикаменты. По пути что-то говорит по-амхарски больному, и он послушно возвращается к своей кровати. На дверях висит стеклянная табличка с обычными русскими буквами: «Перевязочная». Пахнет эфиром, йодом и еще какими-то лекарствами. Дежурный врач останавливается в стеклянном

холле стационара, подзывает к себе сестру, и они вместе обходят палаты.

Начало всякой новой работы волнует, заставляет сомневаться в своих силах.

Здесь, в незнакомой обстановке, эти чувства обостряются, принимают иногда пугающие формы. Естественно, что первого больного я ждал с тревогой в душе. И вот наконец далеко за полночь дежурный ассистент, эфиоп, постучал в дверь моей квартиры:

— Доктор, привезли больную, просят вас посмотреть.

У приемного покоя толпилось несколько женщин и двое мужчин. Один из них, молодой, изящный, подбежал ко мне и стал говорить что-то по-английски. Он был сильно взволнован и, сдерживая слезы, пытался рассказать о своем горе. Я прошел вместе с ним в приемную комнату.

На больничной кушетке лежала еще совсем юная эфиопка, которую он назвал своей женой. Весь вид ее говорил о крайней тяжести заболевания: выпуклые губы опалены сухим жаром, ноздри возбужденно вздрагивают, втягивая воздух, бледная кожа покрыта испариной, в глазницах — глубокая тень крайнего изнеможения.

Тут же, в приемной, находилась старушка, одетая в длинное белое платье из грубой, кустарной ткани. В поясе она была перехвачена широким платком, и ее маленькое иссушенное тело, казалось, было вдето в просторную, всю в сборках, одежду. Измученное лицо, словно вырезанное из черного дерева, обрамляли мелко вьющиеся седые волосы. В беспокойных движениях сквозили нервозность и отчаяние.

— Абеба, абеба (Цветок, цветок), — шептали губы старушки, искаженные страхом.

Волнение женщины передалось нашему ассистенту-эфиопу, и он с трудом переводил ее слова. Осмотр больной еще раз подтвердил всю тяжесть недуга. Мы пришли к выводу, что молодая пациентка страдает разлитым перитонитом, крайне запущенным.

— Доктор, я знаю, жена моя очень тяжело больна, но я верю вам. Вылечите ее! — просил эфиоп. — Мы так много слышали хорошего про московский госпиталь и поэтому обращаемся к вам.

— А откуда вы ее привезли? — заинтересовался я.

Мы ужаснулись, узнав, что больная прибыла из провинции Кафа, где ее муж работает учителем. Трудно было даже представить, как она, находясь в таком состоянии, могла перенести пятьсот километров пути по несовершенным африканским дорогам.

— В Кафе нет таких больниц, как здесь, и мы вынуждены везти больных сюда, — с грустью признался учитель. — А это ее мать. Уже четвертые сутки она не спит.

Оставив мать наедине с дочерью, мы вышли из приемкой. Переводчик объяснил молодому эфиопу сложность положения больной и осторожно завел разговор о необходимости хирургического вмешательства. Учитель, не задумываясь, сказал:

— Делайте все, что считаете нужным.

Мать также дала свае согласие на операцию. А когда пациентку укладывали на носилки, старушка шепнула ей:

— Згаар алле, мыным Заудиту (Бог есть, моя Заудиту).

Больную отправили в палату, перелили ей плазму и лишь после этого взяли в операционную. Все с особенной тщательностью готовились к предстоящему хирургическому вмешательству.

Врачи и сестра молча мыли руки. Все понимали сложность положения: почти никакой надежды на благополучный исход. Не хотелось бы начинать с этого…

Ассистент Баяне Деста медленно и плавно вводил наркотизирующий раствор в веку больной. Операционное поле уже было готово, и через минуту мы приступили к делу.

Почти весь коллектив врачей сгрудился у операционного стола, каждый старался чем-либо помочь. Эфиопы-ассистенты напряженно следили за нашей работой, тоже готовые в любую минуту прийти на помощь.

Тишину нарушал глухой стук инструментов в руках хирурга. Самый воздух, кажется, был насыщен тревожным ожиданием. Баяне через каждые три-четыре минуты сообщал о состоянии пульса и артериальном давлении.

Сделав необходимое и накладывая последние швы, я посмотрел на больную. Трапоналовый наркоз вызвал у нее тихий и глубокий сон. Шоколадное лицо Заудиту было удивительно спокойно. Ее красиво очерченные губы слегка порозовели. Сквозь золотистый пушок над ними пробились мелкие бусинки влаги, от ресниц легли мягкие тени, неестественно увеличив глазницы. Сейчас можно было подумать, что Заудиту не больна, что ей не грозит смертельная опасность и, проснувшись, она радостно улыбнется нам.

Операция кончилась. У двери стоял муж молодой эфиопки.

— Будет жить? — с робкой надеждой спросил он.

— Будем бороться, еще не все потеряно, — ответил по-амхарски переводчик.

Учитель встрепенулся и, пожимая нам руки, повторял: «Я хочу надеяться».

Беседуя с ним, мы не заметили, как наступило утро. Все перешли в палату. Экваториальное солнце заполняло комнату и живым огнем играло в стеклянной трубке системы переливания, по которой мерно струилась жидкость, неся антибиотики в кровь Заудиту.

Медицинская сестра зашторила окна, осторожно поправила подушку в изголовье пациентки. Мы покинули палату, оставив молодую эфиопку с опечаленной матерью. Нам нужно было готовиться к приему больных в поликлинике.

Идя по коридору больницы, я невольно вспомнил разговор с одним пассажиром в самолете, когда я летел в Эфиопию. Он назвал себя врачом.

Наш воздушный лайнер успел миновать Везувий и Неаполь. Внизу лежала серо-голубая масса моря. На горизонте еще видны были темные силуэты Капри и несколько разбросанных по водной глади скалистых островков.

Взглядом попрощавшись с Европой, я отвернулся от окна и заметил, что в соседнее кресло опустился новый пассажир. Через минуту я узнал, что он летит в Найроби — столицу Кении, а затем в какую-то ее провинцию. Мне не хотелось говорить о себе, и, не мешая словоохотливому соседу, я решил терпеливо выслушать его.

Довольно тучный, обросший жесткой щетиной, господин смотрел на меня тусклыми, усталыми глазами.

— Вы впервые в Африку? — спросил он.

— Да.

— О, я вас понимаю. Сколько сейчас волнений, ожидания чего-то экзотического, таинственного! Да-да, вас ждет очень много интересного. Вот так и я летел впервые девять лет назад, а теперь устал. Видите, получил первый отпуск, побывал среди европейцев и теперь уже без энтузиазма возвращаюсь к своим шоколадным пациентам.

Длинная сигарета «Честерфилд» медленно тлела в его дрожащих пальцах, на лацканах пиджака и коленях виднелись пятна растертого пепла. Потушив сигарету, сосед продолжал:

— Я колониальный врач. Там я обеспечен, но даю честное слово, что за душой не имею и цента, а вот опыт, богатейший опыт заработал. Пытался писать записки, ну, если хотите, мемуары, но засосали одиночество, тоска, и все бросил.

Мне невольно захотелось лучше рассмотреть моего собеседника.

Его пальцы продолжали мелко дрожать, бегая по борту измятого пиджака. Рыхлое лицо с обвисшими мешками кожи вместо век покрыто беспорядочными частыми морщинками.

Доктору можно дать и сорок и шестьдесят лет. Так стареет человек только от длительного употребления алкоголя.

Африканцы стоят того, чтобы о них написать трезвые книги, — цедил мой спутник. — Если хотите знать, писатели дьявольски врут о них. Да, врут. Нет там никакой экзотики и любви — это чепуха. Вас неумолимо задавит жестокая реальность. Вы не верите?

Я молчал, а доктор, задавая вопросы, сам отвечал на них, нисколько не интересуясь моим мнением.

— Цивилизация — бред. Мы несем им ее для того, чтобы они тяжко, неизлечимо заболели самосознанием. Им и без нас хорошо пребывать в первобытном хаосе. Если бы вы только знали, как это упоительно сладко — забыть европейские условности и быть вольным дикарем!

Наклонившись, я еще раз пристально посмотрел в его лицо: не пьян ли он? Нет, как будто… Взгляд холодный и озлобленный. Пассажир был готов к длительному и настойчивому спору. Зализанные темные волосы прилипли к большому черепу. Лоб мучительно напряжен. На какой-то миг мне показалось, что он знает меня, во всяком случае догадывается о моей профессии.

Я невольно сжал зубы, решив молчать.

Размашистым жестом доктор достал из заднего кармана брюк сигареты и предложил мне. Закурили, и, глотая дым, он продолжал:

— О, я их изучил глубоко и очень тонко! Как-то мне привезли тяжелобольного мужчину. Это был огромный молодой детина, которого доставил ко мне его родной брат. Одежда и осанка брата говорили о том, что он из состоятельных людей.

Сосед сделал паузу, отчаянно затянувшись несколько раз подряд:

— Да, так… больного нужно было срочно оперировать. Все расходы составляли около двадцати фунтов. Узнав об этом, брат больного заметался в испуге. Тогда я решил запросить вдвое меньше: жаль было черного геркулеса. Но и это не устроило. «Нет, сэр, — сказал брат, — кто-то на земле должен жить, а кто-то и умереть». Вы слышали такое? Нет, вы не слышали! И он увез больного, а там — неминуемая смерть. Вот их любовь! Нет, эти дьяволы — безжалостные люди…

Зная, что лечение здесь всюду платное, я спросил:

— Видимо, он увез брата в ближайшую больницу, где запросят меньше!

— Глупости. До ближайшей больницы не менее двухсот миль, и ему не доехать, — грубо отрезал доктор.

Я не нашел, что ему ответить. Передо мной был современный

«амок» — рыцарь фунтов и центов: гуманность медика уступила место алчному расчету. Колониальный врач был также убежден, что все писатели — лгуны. Они не напишут правду об Африке…

Почему-то многие художники в своих плакатах и карикатурах изображают колонизаторов со зверскими лицами убийц, обязательно в пробковых шламах и с огромными бичами в руках. А я встречал в Африке сотни благообразных европейцев, даже в халатах врачей, которые и по сей день мечтают о работорговле. Наш господин из самолета был одним из таких джентльменов. Блаженно посасывая виски и мечтая о большом бизнесе, он считает себя просветителем.

От этих воспоминаний меня отвлек муж Заудиту. Весь поникший, уставший от горя и переживаний, он хватался за рукав моего халата, моля о помощи. Видимо, и этого африканского учителя, питающего самую нежную любовь к своей больной жене и не потерявшего уважения к людям, колониальный доктор из Кении назвал бы дьяволом.

Время тянулось томительно долго. Тревога охватила не только родных больной, но всех наших врачей. Медицинская сестра через час-полтора сообщала мне о состоянии Заудиту.

Окончив амбулаторный прием, мы созвали консилиум. Каждый из нас брал холодную детскую руку больной, долго прислушивался к слабому биению сердца и высказывал свое мнение.

Антибиотики капля за каплей уходили в операционную рану и голубую вену на сгибе локтя Заудиту. Все надеялись на животворную силу этого препарата.

Поражало спокойствие больной. Под ее по-детски доверчивым взглядом врачи теряли профессиональную выдержку и самообладание. Заудиту их все время заставляла о себе думать.

Так мучительно прошел день, а короткая тропическая ночь казалась бесконечной.

Утром меня разбудил многоголосый гомон птиц в эвкалиптовой роще больницы. Одевшись, я побежал в отделение и у входа увидел всех наших сестер и врачей — и они не могли спать спокойно.

Поднялись в комнату Заудиту. Сверх всяких ожиданий, молодая эфиопка встретила нас улыбкой. Болезненной, тусклой, но улыбкой! Оттаявшая темно-оливковая кожа Заудиту была нежной, шелковистой и горячей. Тяжелый жгут черной косы лежал на мягкой белой подушке. Пульс стучал ритмично, настойчиво и уверенно. Превозмогая болезнь, Заудиту потянулась к жизни и, казалось, уже добилась победы. Во всяком случае нам хотелось так думать, несмотря на то, что до выздоровления было

еще бесконечно далеко.

— Жена моя чувствует себя прекрасно! — радостно воскликнул учитель.

— Еще рано об этом говорить, — пришлось предупредить его.

А мать, высохшая, как мумия, внимательно следила за всеми нашими движениями, вслушивалась в разговор и каким-то особым, материнским чутьем разгадывала его смысл.

— Ау, хаким, батам дыгнано (Да, доктор, очень хорошо), — говорила она, поглаживая густые волосы дочери.

Заудиту лежала в полном изнеможении, и только улыбка едва трогала ее повлажневшие губы.

Учитель был, несомненно, высокого мнения о нашем госпитале, верил нам, но, когда состояние Заудиту ухудшалось, немедленно обращался к богу и искал его защиты. «Доктор, бог милостив, и с вашей помощью он возвратит мне жену!» — повторял он тоном человека, читающего молитву.

Теперь учитель приписывал волшебную силу московским врачам (так называют нас местные жители).

— Вы можете все, — глядя на повеселевшую Заудиту, говорил он.

Это был, пожалуй, типичный представитель молодого поколения Эфиопии, которого коснулась европейская цивилизация. В совершенстве изучив английский и французский языки, он в то же время обладал лишь небольшим запасом общих знаний. Но свою интеллектуальную бедность он покрывал умением быть вежливым, не назойливым, внешне приятным и общительным.

В Эфиопии есть школы американского, французского, английского посольств, где учится местная эфиопская молодежь. Наряду с общеобразовательными предметами, там читают курс философии, знакомят с течениями европейского искусства и обильно сдабривают программу теологией. Нет сомнения, что эти школы, помимо всего прочего, прививают юношеству симпатии к тем государствам, которые они представляют.

Наш знакомый окончил английскую школу в Аддис-Абебе и теперь воспитывал своих маленьких соотечественников в далекой провинции Кафа. Как я мог судить из бесед с ним, свои знания он излагал весьма книжно, подчас туманно. И только когда вопрос касался его национальной культуры, он загорался.

— Да, да, мы сейчас много учимся, — торопился высказаться учитель, — нам трудно: еще нет нужного числа школ, книг и достаточных знаний, но приезжайте к нам через десять-пятнадцать лет — и вы удивитесь многому.

Он был прав. Эфиопия еще в тридцатых годах нашего

столетия исчисляла свои школы единицами, да и они были подчинены контролю коптской церкви.

Вторая мировая война принесла Абиссинии огромные человеческие жертвы, голод и разруху. Итальянские чернорубашечники подавляли эфиопскую национальную культуру, насаждая свинцом и газовыми бомбами звериный культ дуче. И недаром эфиопы исключили из своей истории семь лет итальянской оккупации. Еще не успела полностью разрушиться военная машина германского фашизма, как крикливый дуче потерпел катастрофу и войска генерала Грациани позорно покинули землю Эфиопии. Поражением итальянцев воспользовались англичане и пытались закрепить свои позиции в этой стране, но им пришлось также ретироваться.

Длительная война вызвала мощное партизанское движение, породила людей новой формации, а возникшее общение с передовыми государствами помогло Эфиопии начать борьбу против многовекового феодализма, внедрять у себя современную культуру и цивилизацию.

После войны Эфиопия делает резкий скачок. Создаются школы, колледжи и просветительные учреждения. Сейчас там работает более пятисот светских школ, заложены основы университетского образования, появляется своя национальная интеллигенция: художники, писатели, педагоги.

Идя по Аддис-Абебе, вы видите веселые толпы юношей и девушек с книгами и папками. Нередко из окон школ слышна музыка. Ее изучают эфиопские дети, робко перебирая клавиши рояля. Группы молодежи прямо на улицах горячо обсуждают международные события.

Первые два года в школах учатся на амхарском языке. С третьего класса начинается английский, позже — французский, а через два года — агрономия, наука о коммерции и ремесла. Богословие везде и всюду занимает доминирующее положение.

Светские школы Аддис-Абебы отличаются благоустройством. Там введена общая форма одежды, установлена строгая дисциплина. Десятки тысяч учащихся получают там образование. Примечательно и такое явление: в Эфиопии существует специальный Центр по поощрению национального производства. Одной из главных задач является борьба за развитие ремесел и прикладного национального искусства. Периодически создаются выставки местных изделий из дерева, металла и особенно предметов, изготовленных кустарями: плетеных корзин, зонтов, безделушек. Этот Центр также контролирует изучение ремесел в школах.

Почти десять тысяч начальных школ находится в ведении

коптской церкви. Церковь оказывает большое влияние на народ, и сила ее велика. В армии императора Эфиопии около ста пятидесяти тысяч воинов, в церковной армии — триста тысяч монахов. Внушительная и выразительная цифра: каждый семидесятый человек в стране монах или священник! Кроме того, служители бога имеют большие резервы в лице слушателей многочисленных церковных школ.

Одна из таких школ расположена недалеко от нашего госпиталя. Выглядит она необычно: под небольшим, подпертым четырьмя ветхими столбами навесом из ветвей эвкалипта и мимозы сидят на корточках ученики и внимательно слушают гнусавое пение учителя. Достаточно ему только закончить строку импровизированного стиха, как они с бешеным темпераментом скандируют пропетое. И так бесконечно. Складывается впечатление, что дети разучивают какую-то бесконечную песню, монотонную и скучную. Но, конечно, это не песня. Так они заучивают амхарскую азбуку, состоящую из двухсот семидесяти знаков. Для удобства запоминания буквы и слоги произносятся нараспев.

Учитель тоже сидит на корточках, босой, в поношенном национальном костюме. Поет он заунывно, надсадно, скрипучим голосом, как муэдзин, призывающий к молитве. В руках он держит длинную тонкую палку. Глаза его закрыты, но сквозь ресницы они зорко следят за шалунами и зеваками. Не успел такой проказник отвлечься, как длинная палка достает его неумолимо. Учитель приводит шалуна в чувство, и он мгновенно начинает петь, раскрыв рот, как галчонок.

Перерывы объявляет сам учитель. В такой момент трудно узнать малышей, которые только минуту назад отличались послушанием, а теперь превратились в шумных и подвижных мальчишек-забияк.

Устаревшими методами воспитания эфиопские церковные училища напоминают нашу древнюю бурсу с разучиванием «аз-буки-веди-глагола».

К вечеру Заудиту почувствовала себя плохо. Она металась в бреду, вся покрытая испариной, не узнавала родных и врачей.

Я сидел за столом ординаторской, когда ко мне зашел ассистент Баяне. Топчась у двери, как провинившийся школьник, он передал мне неожиданные вести. Муж и мать Заудиту решили забрать больную домой. По их словам, она должна умереть, и они хотят отвезти ее куда-то недалеко от Аддис-Абебы, на святые воды. Только там, в присутствии бога и духа своих героических предков, они еще надеются ей помочь.

— Ато Баяне, этого не должно произойти, — говорю ему.

— Они хотят, доктор…

— Чего хотят?

— Лечить святой водой.

— Так поговорите с ними, они же вам верят!

— Верят, — согласился он, — но богу больше верят.

Весь этот разговор для меня звучал странно и неестественно.

— Попросите ее мужа ко мне, — еще цепляясь за какую-то надежду, сказал я ассистенту.

Пока я искал выход из сложившегося положения и, нервничая, бегал по ординаторской, открылась дверь и вошел муж Заудиту в сопровождении нашего переводчика.

Во всей фигуре учителя читалась кротость и безнадежная подавленность верующего. Он смотрел на меня невидящими глазами.

Я усадил его на диван и, пригласив Баяне, выразил сочувствие и даже одобрил принятое решение. Но мои слова больше были обращены к ассистенту, чем к учителю:

— Далеко находятся святые воды?

— Нет, доктор, километров пятьдесят отсюда. Это на Поклонной горе. Там есть родники, — смущенно бормотал Баяне.

— Так они что — действительно священные, помогают больным?

— Да, там все лечатся. Туда ходили наши деды и прадеды, поклонялись священным камням и воде, — опередил нашего переводчика учитель.

— Интересно! Мне следовало бы туда съездить…

При этих словах муж Заудиту заволновался, что-то стал возбужденно доказывать ассистенту, а тот через короткие промежутки переводил его слова:

— Вы правы, там много интересного. На эту гору ходило много наших людей раньше, когда здесь еще не было европейцев. Там есть даже горячая вода, она струится из длинного и узкого ущелья, и никто не знает ее истоков. Там похоронены наши древние святые, и люди верят в их исцеляющую силу.

Это не было пересказом слов учителя. Я видел, как загорелся сам переводчик, пытаясь образно и красочно передать уже свое мнение о силе Поклонной горы и древних могильников. Речь шла о святынях нации, и даже Баяне, имея довольно ясные представления о нашей медицине, верил в таинственное могущество святых вод и камней.

Как бы твердо в Эфиопии ни было внедрено христианство, все-таки культ предков, поклонение камням, божкам и духу умерших еще крепко держатся в народе.

— Что же там лечат? — спросил я у Баяне.

— Туда идут не только больные, но и люди, у которых есть горе, несчастья.

Рассказанное ассистентом как две капли воды похоже на бытовавшие когда-то у нас наивные поверья. Еще в Узбекистане мне приходилось в детстве слышать от стариков узбеков удивительно яркие легенды об исцеляющих камнях, таинственных родниках, дающих жизнь больным и калекам.

В далекой Киргизии есть местечко Арсланбоб, затерянное среди величественных гор, стремительных рек и орехового леса. Там тоже есть древняя гробница Арслана и множество «священных» камней. Одна из таких гранитных глыб лежит в наклонном положении, упираясь верхним концом в выступ горы и опускаясь ровной десятиметровой стрелой к весело журчащему роднику. По преданию, она обладает чудотворной силой исцеления от болезней. Гробница Арслана притягивала толпы паломников, калек и юродивых. Дервиши поддерживали и разжигали эту страсть в народе, и Арсланбоб стал священным местом.

В современной, развитой Киргизии древние поверья воспринимаются как красивые, но наивные сказки.

Здесь же, в Эфиопии, отсталые взгляды предков сохранились и по сей день. И наш учитель еще оставался во власти невежества и красиво оформленной первобытной мистики.

Не думаю, что жители Эфиопии заимствовали это поверье у нас в Киргизии или наоборот. Каждое поверье или даже религиозный миф складывается в сознании человека из реальных представлений окружающей природы, с которой он сталкивается и в которой он живет. Этапы исторического развития разных племен и даже разных континентов, несомненно, совпадали, имея только отличительную окраску от влияния различных религий, социальных условий и своеобразия той природы, где эти племена находились. А в легендах, поверьях и мифах выявились законы общности развития всего человечества.

Сейчас мне представилась конкретная возможность заставить суеверного человека признать силу науки. И надо принимать какое-то решение.

— На чем же вы повезете Заудиту? — задал я вопрос.

— До Поклонной горы на машине, а там переложим в наши носилки и понесем на руках.

— Она не выдержит такой тряски.

— Тогда отсюда повезем осторожно на лошадях.

— Еще хуже и сложней.

— Так как же быть, доктор? — недоумевая, спросил учитель.

— Думаю, что ее надо оставить у нас.

Он растерялся от такого предложения, умоляюще посмотрел на меня.

— Моя жена — единственная дочь этой женщины; мать не согласится с нами, — робко сопротивлялся он.

— Надо поговорить с матерью, я это поручу вам и нашему ассистенту.

— Нет, вы должны присутствовать обязательно, мы вам верим, — уже тверже заговорил он.

С радостью и надеждой я отправился к матери Заудиту.

В палате больной тускло светился ночничок, отбрасывая длинные тени от окружающих предметов. Мать сидела у изголовья дочери, оцепенев и ссутулившись под тяжким бременем несчастья и отчаяния. Заудиту все так же трудно дышала, до сих пор не придя в сознание. При виде нас мать стремительно встала, бросилась сперва к учителю, потом ко мне и залепетала: «Абеба, абеба…»

Я подошел к больной, чтобы еще в сотый раз осмотреть ее, а ассистент стал терпеливо убеждать женщину согласиться с нами.

— Елем, елем! (Нет, нет!) — возражала она.

Состояние Заудиту было тяжелым, но не безнадежным. Она могла продержаться еще два-три дня, получая плазму, жидкости, антибиотики. За это время надо принять какие-то меры. Но какие?

Мысль работала четко и напряженно: увезут — значит, погибнет! Оставить у себя? А как спасти? И все же задержать Заудиту в больнице просто необходимо, к этому обязывают долг врача и совесть человека. Оставалась лишь одна трудность — уговорить мать.

— Баяне, передайте матери, что мы попытаемся во что бы то ни стало найти для Заудиту свежую кровь и перелить ей.

При этих словах старушка на мгновение остановилась, и ее скрюченные пальцы застыли на иссохшей груди. Медленно и молча осматривая каждого из нас, она пыталась вникнуть в смысл сказанного. В глазах матери Заудиту промелькнуло недоверие, даже страх. Горе и усталость мешали ей понять значение наших слов о переливании крови. Да и где она могла слышать, что на земле существует такая операция, когда всю жизнь прожила в глухих саваннах Африки! Старую мать мучили сомнения. Она смотрела на нас как загнанный зверек, отчаянно ищущий спасения, Потом она сказала:

— Давайте кровь, будем ждать до завтра.

«Делайте что угодно: лейте кровь, лекарства, только спасите мою дочь!» — было написано на ее изможденном лице.

Доверие старушки поразило и обрадовало нас. Она сумела

своим материнским чутьем понять главное, найти волю отказаться от первоначального решения и окончательно отдать судьбу дочери в наши руки.

Но победа была еще очень сомнительна.

Дело в том, что в Аддис-Абебе пока не существовало службы переливания крови ни в городском масштабе, ни в отдельных госпиталях. Все пользовались только сухой плазмой, доставляемой из Европы. В этом высокогорном городе, с сильно разреженным воздухом, где люди сами нуждаются в каждой капле крови, несущей живительный кислород, не так-то просто найти доноров. Да и при обследовании целых групп населения для создания этой службы врач натолкнется здесь на крайние затруднения.

Наш госпиталь не был исключением в сложившихся обстоятельствах. Сказав матери больной о переливании крови, я взял на себя большую ответственность. Но в то же время это стало моей опорой, той надеждой, которую ищет врач в трудных случаях своей практики.

Снова консилиум и снова обсуждения. Никто не сомневался, что перелить кровь непременно надо. Всех смущало другое: где ее взять?

Директор госпиталя М. О. Павлов предложил нам побеседовать с персоналом из местных кадров, а если потребуется оплата, то в деньгах не скупиться. Это было хорошее решение, если учесть, что местный персонал тщательно медицински обследован.

Ординатор пошел определять группу крови у больной, а мы беседовали с людьми. Через полчаса все было выяснено: у Заудиту первая группа крови, а у находящихся в это время в госпитале ассистентов-практиков — вторая и третья.

К сожалению, вторая и третья группы крови совершенно несовместимы с первой.

Остались в резерве муж и мать Заудиту. Через несколько минут отпал и муж — вторая группа. Кровь матери дважды проверялась сыворотками. Ординатор, склонившись над блюдечком с яркими каплями крови, долго размешивал их стеклянной палочкой.

— Первая. Смотрите: первая! — воскликнул он, заканчивая исследование.

Мы бросились к белому блюдечку, на котором расплылись три красных пятна. Да, ординатор не ошибся: это была первая группа!

Но как объяснить старушке? Как посмотрит она на эту операцию, сможет ли она отбросить свои суеверия и пойти на

такой решительный шаг?

Вскоре пришел переводчик с матерью Заудиту. Она умоляла нас взять хоть всю ее кровь, чтобы только спасти дочь.

«Сколько же неиссякаемой доброты в материнской любви, — подумал я, — если эта женщина смогла подавить в себе страх, навеянный вековым невежеством, и поверить науке и нам, советским врачам!» Ей хотелось пожертвовать собой до конца и, если нужно, отдать последнее свое дыхание больной дочери.

Говорят, что горе матери неописуемо. С этим можно согласиться. Но и радость матери, когда она может еще чем-то помочь своему угасающему ребенку, тоже не поддается никакому описанию.

Через минуту вены матери и больной дочери были соединены, и по стеклянной трубке заструилась кровь.

Лицо седой женщины прояснилось. Может быть, сейчас она чувствовала второе рождение Заудиту, не знаю. Но мне никогда не приходилось переливать кровь человеку в такой торжественной обстановке, не приходилось быть свидетелем такого могучего проявления материнского инстинкта..

После переливания крови Заудиту продолжала метаться в бреду. Однажды она попросила воды, поискала что-то рукой в воздухе и опять погрузилась в глубокий сон. И так продолжалось почти двое суток. Она боролась с кошмарами, ознобом, несвязно выкрикивала какие-то слова и, вновь обессилев, прерывисто захватывала воздух своими сухими, потрескавшимися губами.

К вечеру третьих суток Заудиту очнулась. Придя в сознание, она хотя и вяло, но отвечала на наши вопросы и всем своим видом как бы говорила, что смерть уже побеждена. А наутро мы совершенно уверились в этом: измотанная болезнью молодая женщина обрела энергию и даже попросила есть.

— Карашо, доктор, — совершенно отчетливо по-русски произнесла Заудиту, когда мы вошли к ней в палату.

Нас это ошеломило, и все внезапно рассмеялись. Видимо, один из наших ассистентов научил Заудиту произносить по-русски «хорошо».

— Ау, хаким, дыгнано, — смеясь вместе с нами, подтвердила по-амхарски мать.

Да и мы, врачи, были теперь убеждены, что больной действительно хорошо и она чудом ушла от неминуемой смерти.

Трудно сказать, что больше помогло: операция, пенициллин, материнская кровь или крепкий организм Заудиту. Как бы там ни было, а мы победили роковую болезнь.

Дни побежали веселей, нанизываясь, как розовые жемчужинки на светлую нить. Заудиту уже ходила по коридору

больницы, всех встречая своей доверчивой детской улыбкой. В ней даже проснулась кокетка. Как-то, проходя по коридору, я встретил ее. Она надела тяжелые подвески, смешно оттянувшие ей мочки ушей, а поверх больничного халата накинула шаму[2]. Сейчас она казалась очень хрупкой, маленькой девочкой. Накидка выгодно оттеняла ее тонкую фигуру.

— Заудиту, почему в шаме? — спросил я.

— Если больной человек наденет шаму, то он обязательно поправится, — рассмеялась в ответ Заудиту и пошла по коридору, игриво поводя плечами.

Работа в больнице за последние дни стала напряженной, поликлиника отнимала много сил. Больные шли толпами. Заудиту я видел только на обходах, задерживаясь у ее постели на несколько минут.

В один из вечерних обходов я поднялся к ней в палату. Навстречу мне по лестничному маршу спускался благообразный эфиоп в черной сутане, из его широкого рукава свисала массивная связка четок. Ортодоксальная церковь в Эфиопии не покидает свою паству и в больнице.

Пройдя к Заудиту, я застал ее беседующей со своей матерью. На подушке лежал образок Марии с младенцем Иисусом, оставленный абуной — эфиопским священником.

Заудиту пора было выписывать домой. Ее муж, учитель, давно уехал в провинцию Кафа к своим ученикам. С матерью мы были уже большими друзьями и, связанные в недалеком прошлом общими переживаниями, понимали друг друга без переводчика.

— Посмотри, доктор, какая у меня дочь. Это все сделала кровь матери руками московского доктора, — сказала она по-амхарски.

А мне было ясно одно: спасая жизнь Заудиту, мы, советские врачи, победили мрак суеверия в душе матери — этой старой и сильной женщины.

«АБУНА И ОБЕЗЬЯНА»

Дышится легко, воздух озонирован прошедшими грозами, испаряющаяся влага смягчает сухой и колючий зной тропиков.

Открылись дороги. Наш госпиталь готовится к большой работе, поликлиника гудит, как переполненный улей.

В один из поликлинических приемов в хирургический кабинет пришел пациент из далекой провинции Уалло. Согнувшись от изнеможения, он еле доковылял до топчана и сразу повалился на него. Стопы ног и голени все в трещинах и густо покрыты пылью. Ветхая одежонка едва прикрывает худое и уставшее тело. Выше колен и до живота из-под одежды выпирает огромная опухоль.

Весь вид больного говорит о том, что нам нужно немедленно оставить всю работу и заняться только им. Через несколько минут он отдышался и приступил к объяснению причин, приведших его к нам. Мы потратили немало времени, пока узнали все подробности его длительного хронического заболевания.

Это был старый погонщик скота, хотя ему можно было дать не больше сорока лет. Занимался он своим нелегким трудом еще с детства и вот последние годы не может работать из-за болезни. За восемь длительных лет он пешком обошел всю Эфиопию. Посещал ее больницы, врачебные кабинеты, амбулатории, но так ему и не удалось избавиться от болезни. Собрав последние силы,

он пешком доплелся из Уалло до нашего госпиталя.

Диагноз был прост. Но заболевание оказалось крайне запущенным. Гигантская слоновость кожи охватила внутренние поверхности бедер, промежность и переходила на живот. Опухоль имела в диаметре не менее сорока сантиметров. Она затрудняла ходьбу и лишила больного всякой трудоспособности. Слоновость кожи продолжала зловеще разрастаться.

За долгие годы лечения больной выслушал десятки советов и рекомендаций, перепробовал множество лекарств, и все бесполезно. Остановить рост опухоли никому не удавалось. Это была история изверившегося больного, готового на все, лишь бы избавиться от роковой болезни. В памяти он сохранил столько врачебных объяснений заболевания слоновостью, что на любой наш вопрос и предложение отвечал тоном человека, которому решительно все известно и удивляться больше нечему.

После беседы и осмотра мы положили его в наш хирургический стационар для пластической операции.

Разъезжая по населенным местам долины реки Аваш, мы часто встречали людей, главным образом мужчин, страдающих слоновостью кожи. А причина этого заболевания — тяжелый быт людей сельских районов страны.

В одно из обычных обследований больного я пригласил его в рентгеновский кабинет, смотрел под экраном, долго вертя на столе аппарата. Как всегда, врач-рентгенолог, сосредоточенно изучая больного, делился со мной виденным на экране. Обсуждая положение, мы не заметили, что пациент зорко и с подозрением следит за нами, конечно, не понимая ни единого нашего слова.

На прием к рентгенологу стояла большая очередь. Наш больной ушел из кабинета, не получив каких-либо разъяснений, так как обследование его только начиналось и делать выводы было еще рано.

Из поликлиники я пошел в палату нашего больного и застал его в крайнем беспокойстве. Его интересовало, что мы думаем с ним делать, почему так долго что-то обсуждали во время рентгеновского обследования. Пришлось объяснить, что каждого больного мы так обследуем, но его задержали дольше, так как готовим к операции.

— А до операции больше ничего не надо делать мне? — тут же задал он вопрос.

— Будет еще ряд обследований, но они безболезненны. Собственно, чем вы так обеспокоены?

— Нет, ничего, на любые обследования я согласен. А операцию, пожалуйста, делайте поскорее.

— Хорошо, постараемся вас не задерживать…

Вскоре он был оперирован. Большое хирургическое вмешательство закончилось кожной пластикой, при помощи которой удалось устранить дефекты тканей промежности и передней стенки живота. Выдержка и дисциплина больного были безукоризненны. После этого он полмесяца пролежал в кровати на спине, не шелохнувшись, пока срастались края кожных лоскутов. Несколько дней держался отек тканей, подвергая опасности омертвения еще свежие и неокрепшие участки пересаженной кожи.

В одну из перевязок, когда прошли эти явления, мы показали ему результат проведенной операции. Больной был крайне изумлен, не найдя столь надоевшей ему опухоли. И до слез благодарен. Он еще долго смотрел то на нас, то на операционные рубцы и не мог слова сказать.

Дальнейшее лечение проходило без осложнений. Медленно, но верно рубцевались операционные разрезы. А дней через двадцать наш больной уже ходил по палатам и всем рассказывал о своем счастливом выздоровлении.

— Вы меня, доктор, здорово напугали, когда исследовали лучами, — заметил он однажды мне.

— Почему?

— Вы же знаете, что до вас я обошел все наши госпитали. И в одном из них меня так же смотрели в темной комнате аппаратом. После дали немного отдохнуть и повели в небольшой домик, который стоял в саду этого госпиталя. Дом оказался церковью, где белые люди молились, но когда мы с доктором вошли туда, то там был только их священник. Затем пришел наш человек, который знал мой язык, и стал говорить со мной, передавая слова доктора и священника.

— Так почему же я вас напугал?

— Подожди, доктор, — остановил меня пациент, — трудно сразу все объяснить, и я постараюсь рассказать подробно эту историю. Тогда вы сами поймете. Вы не торопитесь: день, говорят, всегда больше ночи, а дорога длинная, мы успеем обо всем наговориться.

Габреиесус Тесемма, как назвал его мой переводчик Баяне, оказался занимательным рассказчиком. Ухмыляясь и весело разглядывая нас, он все время вскакивал со своего стула, предлагая мне сесть. В холле, где завязалась наша беседа, было еще несколько мягких кресел, и нам с переводчиком пришлось занять два из них, чтобы спокойнее выслушать больного.

— Много лет назад, когда наши прадеды были молодыми людьми, к нам в Дессие приехали белые священники, — продолжал он.

— Чем же это связано с вашей болезнью? — удивился я.

— Нет, болезнь моя с ними не связана, но лечение ее зависело от них.

Последние слова больной произнес с уверенностью, чем еще больше усилил наше недоумение.

— Город Дессие был тогда маленьким поселением из тукулей, и к нему примыкал большой густой лес. Белые люди пришли к нам мирно, никогда не обижали нас и даже помогали, если кто заболел или попал в беду. Как будто все шло хорошо, наши люди прониклись к ним уважением, а это они очень ценили.

Тогда, доктор, еще не было у нас такого цельного государства, как сейчас, в каждой провинции был свой негус, свои войска. Негус провинции Уалло принял белых людей с почетом, разрешил им жить, как они хотели, не обижал их.

— Когда же это было? — старался я уточнить время.

— Точно я не могу сказать. Это было до императора Каса.

Старики говорят, что прошло больше ста лет с тех пор. Но сказания о том периоде жизни люди провинции Уалло помнят хорошо…

От неграмотного жителя Эфиопии вы никогда не узнаете ни одной исторической даты. Их летосчисление связано с именами правителей и событиями прошлого. Эфиопы прекрасно понимают друг друга, но непосвященному человеку, такому, как я, приходится обращаться за справками.

Рас Каса, — объяснил мне переводчик, — сто лет назад объединил княжества Эфиопии и создал единое государство. Это не понравилось англичанам, и в 1867 году они объявили нам войну и свергли императора. Наш народ часто вспоминает Рас Каса — он хотел освободить Эфиопию от белых захватчиков. Габреиесус Тесемма говорит об этом императоре, значит, это было не меньше ста лет назад.

— Да, это было до Рас Каса, — продолжал рассказчик. — Вы никогда не были в Уалло?

— Нет, не был, — ответил я.

— И в Дессие не были? — удивился Тесемма.

— Тоже не был.

— Жаль. Видимо, вы не охотник. Вот где можно хорошо поохотиться! А город Дессие теперь не тот, что был раньше. Ну, я отклонился от своего рассказа, а вы торопитесь… Так вот, как я уже говорил, белые пришельцы были очень мирные люди. По вечерам в выстроенном храме раздавалась музыка, а под его куполом протяжно звонил колокол, зовя людей на молитву.

Священником у белых людей был некий монах Бартоломео.

Он читал проповеди, умел говорить с нашими людьми, не считался с лишениями, если это вызывалось необходимостью. Не раз, бывало, войдет он в тукуль скотовода и, усевшись у огня, начнет говорить о белом боге. Вовремя распознавал горе людей, помогал в беде, лечил больных и таким образом стал всеми уважаемым человеком.

Прошли годы. Священник Бартоломео, как ни странно, все больше крепчал, только волосы его стали совсем белые. За это время он смог многих из нас приобщить к своему богу, и на вечерние молитвы народ уже валил толпами, заполняя храм. Наши люди забыли свое священное дерево и перешли под власть белого бога.

— Какое священное дерево? — прервал я Габреиесуса.

— Видите ли, мы раньше поклонялись дереву и считали его своим богом. Молясь дереву, каждый должен был оставить память на его ветвях. Обычно привязывали полоску ткани и задумывали при этом какое-нибудь желание и слова, обращенные к божеству. Люди когда-то любили ходить к огромному баобабу, что стоял у реки, и считали его своим божеством. Баобаб был добр к нашим людям, потому что все их желания исполнялись, если они хорошо работали на полях и дома. Старый Бартоломео не осквернял это дерево и даже иногда приходил к нему сам и долго простаивал в раздумье у его могучего ствола. Наших людей, принявших белого бога, Бартоломео называл католиками и выдавал им крестики для ношения на шее.

Приближался большой праздник белого бога. На одну из вечерних молитв собралось много народу, были люди и из окрестных селений. Голос Бартоломео торжественно звучал под сводами храма, органная музыка лилась, волнуя сердца.

Абуна, или на их языке священник, рассказывал о муках Иисуса, принявшего на себя страдания людей. Все были поглощены его словами. Даже лес притих, вслушиваясь в проповедь отца Бартоломео.

Перед образами зажглись лампады, люди склонили колени в жаркой молитве. Дверь храма была настежь раскрыта, и на паперти лежал широкой полосой свет от сотен свечей. Казалось, образ бога сейчас витал над головами прихожан: настолько глубоко молящиеся прониклись взволнованной проповедью священника.

Отец Бартоломео простер руки к небу, его седые волосы стали огненного цвета, лицо передавало страдания Иисуса. Он был сам похож на божество, явившееся из бездны наступающей ночи.

Вдруг люди в храме заволновались. Последние ряды, что

были ближе к входу, уже не слушали проповеди и все время, смеясь, оборачивались к двери. Смех передавался другим. Лицо отца Бартоломео стало страшным от возмущения при виде кощунствующих в храме прихожан. Но когда он бросил свой взгляд на входную дверь, то смутился не меньше прочих.

В проеме двери стояла большая белобородая обезьяна. Забавно оттопыривая губы и обнажая острые клыки, она била огромными кулачищами себя в грудь так, что та гудела, как барабан.

Проповедь была сорвана. Все принялись разглядывать чудовище, пришедшее сюда из соседнего леса. Священник негодовал, а обезьяна, не смущаясь, продолжала колотить себя в грудь. Но в следующий миг она одним прыжком бросилась в темноту и исчезла.

Люди, еще минуту назад слушавшие проповедника в трепетном молчании, давя друг друга и улюлюкая, хлынули на паперть. Священник остался один в гневе и отчаянии.

— Ничего необычного в появлении обезьяны не было, — смеясь, продолжал Тесемма, — они часто забредают в наши селения, когда им хочется поживиться чем-либо лакомым. Живя всегда близко от человека, обезьяны привыкают к нему и при встрече уходят нехотя, как бы обиженные, что им помешали.

Но появление белобородой обезьяны показалось людям странным. Обычно к селениям приходят мартышки и павианы, белобородая же обезьяна более осторожна.

Ну как бы там ни было, а проповедь была сорвана. Люди, повеселившись, стали расходиться по домам. Вскоре потухли огни в храме, и отец Бартоломео, повесив на дверь замок, поплелся к себе, удрученный происшедшим случаем.

— Послушайте, дорогой Тесемма, — улыбнулся я, хоть вы и хороший рассказчик, но и не меньший фантазер.

— Что вы, доктор! — заступился за него мой переводчик. — Тесемма рассказывает вам народную былину, и называется она «Абуна и обезьяна», а что говорит он хорошо, так это все жители провинции Уалло славятся этим качеством.

Габреиесус рассмеялся, затем положил свою руку мне на колено и спросил:

— Так вы не верите мне?

— Не очень, но рассказываете вы интересно!

— Эх, доктор, у нас в народе есть много историй, связанных с приходом белого человека. Да разве можно их все пересказать! Вы занятый человек, но пойдите к нам в леса и степи, там вы наслушаетесь еще не таких историй. Я не умею находить хорошие слова. Вам нужно побыть среди скотоводов, посидеть несколько

ночей у их костров — и вот где найдутся рассказчики!

Баяне стал отчаянно защищать Тесемму, а тот, с благодарностью взглянув на него, продолжал:

— Наутро люди еще перешептывались, вспоминая вчерашнее происшествие. Старались быть сдержанными, так как речь шла о храме божьем, к которому все привыкли.

Отец Бартоломео не показывался на улице целый день: он искал выход из сложившегося положения. Следующая проповедь должна была состояться вечером, и надо было успокоить народ, укрепить его веру в белого бога.

На закате ударили в колокол. Его густой звук поплыл над Дессие. Люди цепочками потянулись на вечернюю молитву. Храм быстро заполнился, и отец Бартоломео, не выказав ни малейшего смущения, вышел к народу. Заняв свое место, он начал очередную проповедь, а говорить он умел заманчиво и сильно.

Вскоре молящиеся снова были в полной его власти. Органист уселся за клавиши и тихо выводил божественную музыку. Как и вчера, зажглись свечи, озаряя дрожащим светом людей и стены храма.

«Все мы подвластны господу богу, несущему нам жизнь и радость», — прозвучали слова священника. И в это время опять появилась обезьяна. Теперь она была осторожнее. Вытянув вперед только морду, животное с любопытством разглядывало, что происходит в храме. Затем, осмелев, обезьяна вся показалась в просвете двери.

И тут ее заметил Бартоломео. Срывающимся голосом он взревел: «Ах сатана!» — и бросился через ряды молящихся к выходу. Но было поздно — темнота и лес опять поглотили обезьяну.

Как и вчера, все смешалось в храме. Но Бартоломео на этот раз не растерялся. Весь красный от гнева, он вернулся на свое возвышение и продолжал проповедь. Правда, развеселившийся народ плохо слушал его, а многие вышли на паперть. Не сдержался белый абуна и, угрожая страшными муками ада, стал ругать прихожан, обзывая их грязными грешниками и падшими людьми. Никто раньше не видел таким отца Бартоломео. Его проклятиям не было конца, и все в страхе стали разбегаться.

С этого дня, доктор, и начались несчастья. Всю ночь и наутро люди Дессие были в тревоге, испуганные проклятиями священника. «Не из простых эта обезьяна, если не боится отца Бартоломео даже в его обители», — думали они.

Скоро произошел случай, который окончательно укрепил в народе это мнение.

Бартоломео вызвал к себе наших охотников и за хорошее

вознаграждение просил их убить «лесного черта». И вот по вечерам, спрятавшись возле паперти, люди с копьями стали караулить зверя. В храме для приманки зажигали огни и играл орган. Все было так, как в часы молитв. И вот однажды, когда сумерки сменились ночью и умолк шум птиц в лесу, из темноты вышла обезьяна. Она, видно, почуяла опасность, потому что тут же остановилась..

Боясь упустить зверя, охотники стали бесшумно обходить его, образуя кольцо. А темень в ту ночь была особенная. Подкрались совсем близко и метнули тяжелые копья. Крик раненого животного разнесся по всему селению: приказ Бартоломео был выполнен.

Но каково же было удивление охотников, когда вместо тела убитой обезьяны в один из тукулей принесли раненого охотника. Из бедра через одежду обильно лилась кровь. Оказывается, испугавшись наступающих на нее людей, обезьяна взвыла, бросилась на ближайшего охотника и распорола ему бедро клыками. А потом мгновенно скрылась в лесу.

Пострадавшего лечил сам Бартоломео. Он посещал больного ежедневно, мрачно раскланиваясь с его родными. Случай на охоте еще больше встревожил жителей Дессие. Один из наших абун сказал, что все несчастья пали на человека за то, что он забыл свою веру и стал ходить в чужой храм. И этого было достаточно. Снова появились яркие лоскутки тканей на нашем священном дерезе.

Но тем дело не кончилось. Злополучное животное явилось в третий раз, и отец Бартоломео покинул храм, «осквернённый дьяволом». А через несколько дней охотники наткнулись в лесу на труп несчастной обезьяны: она была отравлена каким-то ядом.

Бартоломео покинул Дессие, и храм по сей день пустует. Теперь он почти развалился. Иногда люди ходят к нему и говорят: «Там когда-то читал проповеди белый священник, который убил обезьяну…»

— А разве вы сами не убиваете обезьян? — спросил я.

— Почему? Они портят наши сады и посевы. Бывает, и мы убиваем или отгоняем обезьян. Но Бартоломео всегда твердил: «Не убий ближнего и невинную тварь», а сам убил безобидное животное. С тех пор наши люди оставили храм и белого абуну. Получилось, что его бог неправильный.

— Вы сказали, что я вас очень напугал при обследовании рентгеном. Так в чем же дело, почему вы об этом не сказали ничего?

— А-а, — улыбнулся Тесемма, — этого я не успел досказать. Вы помните, что я говорил о своем побеге из госпиталя!

— Помню.

— Так это же был госпиталь миссионеров протестантской церкви, который работает в одной из провинций Эфиопии. Там меня смотрели рентгеном, как и у вас, а после повели в свою церковь и предложили принять их веру, пообещав меня вылечить. Я отказался и сбежал. Вы знаете, доктор, из вашего госпиталя я тоже собирался бежать, но уговорили больные, сообщив, что никакого священника здесь нет.

Только теперь мне стало понятно, для чего Тесемма передал нам народное сказание об абуне и обезьяне. Находясь в крайне тяжелом физическом состоянии и ища спасения от злого недуга, он все-таки отказался от помощи миссионерской больницы и остался верен традициям своего народа.

Его рассказу, конечно, нельзя верить целиком. Но зато как правдиво и просто показал он истинное лицо миссионеров, наводнивших современную Африку!

Проникновение в эту часть света католической церкви всецело связано с общей политикой колонизации африканских народов. Если два-три века назад миссионеры искусно разыгрывали роль носителей культуры и религии, которым политика будто бы совсем чужда, то в наше время они совершенно открыто пропагандируют идеи колониализма.

Вся Африка наводнена черными и коричневыми сутанами. Теперь это не только католики, а и протестанты, и лютеране, и методисты, и адвентисты. Организовав в Эфиопии филиалы европейских монашеских орденов, они пользуются солидной материальной поддержкой Ватикана, американской католической церкви и деловых кругов. Они проявляют подозрительный интерес к ископаемым богатствам страны, ее экономике и торговле.

Сытые и жадные физиономии миссионеров, а подчас и их выправка заставляют думать, что эти темные люди знакомы не только с библией, но и с инженерным делом, военным искусством и что они, главным образом, являются проводниками интересов крупного капитала. Все их проповеди и брошюры отпечатаны в Бостоне или Чикаго. Эти демагоги «демократического капитализма» раболепно восторгаются силой американской цивилизации, бессовестно лезут в душу простого человека, отравляя ее всеми возможными средствами.

Как-то ко мне в кабинет пришел один из таких миссионеров и завел со мной беседу на английском языке. Но, убедившись, что я не знаю английского, вежливо раскланялся и так же быстро исчез. А на второй или третий день он вновь явился, бочком протиснулся в дверь и оставил у меня на столе брошюру.

Кончился прием больных, и я занялся оставленной книгой. Она была напечатана на русском языке (миссионер учел, что я не знаю английского): «Обращение в истинное христианство». В предисловии говорилось: «Методика очищения духовной жизни человека, предложенная нами, проверена американским братством адвентистов».

В тексте приведено много примеров, когда попавшие в несчастье люди неожиданно познавали «истину» и делались от этого счастливыми, легко переносили горе и трудности, а суета материальной жизни становилась для них «тленом». Книжица в несколько страниц заканчивалась словами: «Все люди мира — братья!.. Американское братство адвентистов не оставляет в беде человека, познавшего истину, и делится с ним хлебом насущным».

Видимо, это и был главный лозунг, если учесть, что в Африке 90 процентов аборигенов нуждается в хлебе насущном. Остается им только одно: принять адвентистскую веру, и они будут обеспечены.

Я пожалел, что адвентистский проповедник, посетивший меня, не слышал рассказ Тесеммы о белом абуне.

…Наш больной окреп, операционные раны затянулись рубцами, и он бодро расхаживал по госпиталю. За день до ухода Тесемма всю ночь провозился с каким-то плетением из конского голоса, а утром пришел ко мне в кабинет и попросил его выслушать.

— Ну что, Тесемма, уезжаешь? — спросил я.

— Нет, доктор, ухожу, пешком пойду домой. А это вам мой подарок за то, что вы меня вылечили. — И он вытащил из-за спины султан белых конских волос на узорной плетеной ручке. — Я сам его сделал и хочу, чтобы вы помнили обо мне.

Пришлось принять подарок. Обидеть его я не мог.

— Згаарстыли, — благодарил его я по-амхарски.

— Абростыли, хаким, абростыли (Бог в помощь, доктор, бог в помощь), — радовался Тесемма, увидев, что мне нравится его подарок.

— А как же ты дойдешь пешком до Дессие после болезни?

— Ие, ие! — удивляясь, повторял он амхарское восклицание. — Я больным сюда пришел, а здоровым уж и подавно доберусь обратно.

Госпиталь выдал Тесемме деньги на проезд. Когда больной узнал об этом, то был крайне смущен, долго не брал деньги, молча выслушивая наши объяснения. Только наш ассистент Баяне сумел ему доказать, что после перенесенной операции нельзя много ходить.

— Я все понимаю, только мне страшно: я никогда таких больших денег в руках не держал.

Пришлось Баяне пойти с ним к автобусу, купить билет, и только тогда Тесемма успокоился.

Уезжая, он просил передать нам: «Скажите московским докторам, что я по ним буду скучать».

«НАШ ПУШКИН»

Шел проливной июльский дождь, когда к нам привезли больного юношу. Тонкий, как былинка, с большими карими глазами и копной черных вьющихся волос, он был необыкновенно красив. Больного внесли на руках и бережно уложили на топчан в приемной его друзья и учителя.

Молодые мать и отец больного все время хватали меня за руки, беспокойно и тревожно повторяя: «Спасите нашего сына, спасите!»

Один из учителей, сверкая стеклами очков и щуря близорукие глаза, подошел ко мне:

— Спасите мальчика, это наш Пушкин.

Его слова заинтересовали меня, но я не стал расспрашивать,

так как надо было немедленно заняться больным.

Вскоре пришли терапевты, и мы совместно осмотрели юного пациента. У него оказался менингит.

— Рас ямаль, батам яма ль (Голова болит, очень болит), — сжимая себе виски, повторял он.

Юношу поместили в самую спокойную палату и затемнили окна плотными шторами. Мать с двумя подростками из школы (учителя упросили нас оставить их) дежурили возле больного.

Заболевание протекало тяжело. Жаром пылало тело. Словно стальные раскаленные обручи охватили мозг. Юноша лежал без сознания. Он все время облизывал шершавые, потрескавшиеся губы и вскрикивал от приступов головной боли. Мышцы тела и лица конвульсивно подергивались от внезапно наступающих судорог. Смерть уже склонилась над больным…

Потянулись часы утомительных дежурств, полные тревоги, отчаяния. И лишь в редкие минуты вспыхивала надежда. Врачи сменяли друг друга, зорко следя за нарастанием грозных симптомов менингита, и всеми средствами боролись за жизнь.

Первые два дня не принесли успокоения ни врачам, ни родителям. Юноша по-прежнему лежал без сознания. Его тело приняло бледный, желто-серый цвет.

Друзья больного теснились траурной толпой у входа в палату и шепотом обсуждали положение. Обстановка была настолько напряжена, что многие врачи уже теряли последнюю надежду на какое-нибудь улучшение. Тяжело было нам смотреть в глаза этих людей, ожидающих от нас помощи.

На третьи сутки болезнь была в самом разгаре. Шли критические минуты. Смерть могла наступить в любой момент.

И тогда мы предприняли еще одну отчаянную попытку: длинной иглой врач проник в череп больного и влил огромную дозу стрептомицина в один из желудочков мозга. Рискованная и последняя попытка…

И она оправдала себя. У больного стала падать температура. Процесс сопровождался ознобами и резкой слабостью. Теперь давались одно за другим сердечные средства, чтобы побороть наступившую слабость. Вскоре к больному вернулось ясное сознание, но симптомы продолжали быть опасными. Потребовалось еще с десяток дней, пока мы смогли осторожно сказать, что больной поправляется. Менингит чреват коварными последствиями, и ни один врач не может быть уверен в своей победе, пока не наступит полное выздоровление.

И все-таки мы уже были убеждены, что смерть миновала. Прошла тревога и у родных и у друзей пациента.

Как-то в беседе с учителем я спросил, почему он сказал о

юноше: «Это наш Пушкин».

В ответ мне улыбнулись добродушные глаза, смущенно прячась за стеклами очков:

— Наш народ, доктор, хорошо знает Пушкина и считает его немного и своим поэтом. Ведь он потомок человека из Эфиопии. Его прадед был нашим земляком, прежде чем попал в Россию.

— Ну, что ж, это приятно, что вы считаете Пушкина своим поэтом. Такие поэты принадлежат не одной нации.

— Верно, — согласился учитель, — такие люди, как Пушкин, не имеют нации. Нет, я не так хотел сказать, — поправился он, — они, конечно, имеют ее, но принадлежат всем, без исключения, людям мира. А приятно все-таки, когда в таком великом человеке течет кровь, похожая на твою. Вы согласны со мной?

— Пожалуй, да. Пушкин и сам писал, что он потомок Ганнибала.

— Вот видите, поэтому и нам не грешно называть его своим, — весело заключил учитель. — Ученик нашей школы Габре, которого вы сейчас лечите, очень одаренный мальчик. Он молодой поэт и пишет по-настоящему сильные стихи. Мы уверены, что он станет если не великим, то большим поэтом.

— В каком он классе учится?

— В шестом, но он так развит, что не уступит в знаниях любому выпускнику школы. Габре влюблен в Пушкина и даже подражает ему в своих стихах.

— А разве есть переводы Пушкина на амхарский язык?

— К сожалению, пока нет, но мы читаем его на английском и французском языках. Пришло время перевести его бессмертные творения и на наш язык.

— Странно, что это не сделано до сих пор, — удивился я.

— А кто мог его перевести? У нас еще не было таких сильных поэтов. Вся надежда на молодежь, на таких, как Габре.

— А стихи Габре издаются?

— Еще нет, но они поощряются в школе, и дети с удовольствием их слушают. Мы недавно провели экскурсию на реку Марэб.

— А что там интересного?

— Мы считаем, что Ганнибал, прадед Пушкина, уроженец одной из деревушек на реке Марэб. Так вот, поехали туда, и это у наших учеников вызвало большой интерес к изучению жизни и деятельности великого поэта.

— Учитель! — обратился я к нему. — Вы обещаете мне, что расскажете все до мельчайших подробностей об этой экскурсии!

— Пожалуйста, — обрадованно согласился он, — дайте только встать Габре, и он вам покажет свои стихи об экскурсии.

Дней через двадцать усилия наших терапевтов увенчались успехом. Габре был почти здоров. Но ему еще не разрешали много говорить и принимать посетителей.

— Ну, как дела, молодой поэт? — спросил я его однажды во время вечернего обхода.

— Доктор, что вы, я еще не поэт, — заявил смущенно Габре. — Я только пытаюсь писать.

— Говорят, что ты уже неплохо пишешь.

— Рано еще меня хвалить, — ответил он серьезно.

— Ну, ничего, научишься и ты писать хорошо, только скорей выздоравливай.

— Доктор, а вы любите стихи?

— Как же можно не любить стихи?

— Знаете, мне очень хочется поехать в Ленинград, — мечтательно продолжал Габре. — Там жил когда-то Пушкин, и мне хочется посмотреть этот город. Да, в России можно стать настоящим поэтом, там сильные люди живут.

— Поэтом можно стать везде, дорогой Габре, — заметил я, — важно иметь талант и много работать.

— У меня есть стихи, посвященные нашему Пушкину. Вот когда буду здоров, я обязательно вам их прочту.

— Поправляйся, Габре, я подожду.

Вскоре Габре выполнил свое обещание. К тому времени он окреп настолько, что уже принимал у себя в палате друзей, которые буквально заваливали его книгами.

В один из вечеров я застал у него учителя, сидящего в окружении школьных юнцов.

— Доктор пришел, доктор пришел! — радостно воскликнул Габре, когда я появился в палате.

Габре в этот вечер был в приподнятом настроении. Он много говорил, сочинял какие-то каламбуры, заливаясь ребяческим смехом.

— Габре, ты уже здоров и скоро уйдешь домой, — объявил я, — но за тобой есть должок…

— Я помню свое обещание, но со мной нет моих тетрадей. Ладно, я прочту стихи и без них.

— Чтобы ты лучше их вспомнил, вот тебе небольшой подарок от меня, — и я передал ему томик стихов Пушкина, изданный на русском языке.

— Что это за книга? — спросил Габре.

— Открой и все поймешь.

Он долго пытался прочитать на обложке тисненые буквы: «А. С. ПУШКИН. ИЗБРАННОЕ».

— Жаль, не знаю таких букв, — только и смог промолвить

Габре.

Ученики и учитель придвинулись к нему и тоже пытались прочесть написанное, но и им это не удалось.

Юноша развернул книгу, и перед ним открылся великолепный портрет Пушкина.

— Так это же Пушкин! — воскликнул он, словно сделал величайшее открытие. — Смотрите, смотрите! — обратился Габре к своим товарищам.

Он нервно перелистывал страницы, всматривался в заглавия стихов, оформление переплета, а потом спросил:

— А кто нарисовал портрет?

— Это старый портрет, но считается одним из лучших. Сделал его художник Кипренский.

— Он русский?

— Да, художник был русским.

— А нарисовал он здорово, здесь Пушкин похож на нашего человека. Ах, доктор, какой ценный подарок вы мне преподнесли! — восторгался Габре.

— Угодили вы ему, — обратился ко мне учитель.

— Вы знаете, какая идея у меня сейчас возникла, — продолжал юноша, — я изучу русский язык и тогда по-настоящему пойму Пушкина. Вы согласны со мной?

— Согласен, но сделать это будет нелегко.

— Я справлюсь, — убежденно заявил он.

Просмотрев книгу, Габре положил ее себе на колени и, сосредоточившись, начал читать свои стихи.

Он весь преобразился. Сейчас передо мной был настоящий поэт, сильный, страстный и вдохновенный. Его товарищи и учитель умолкли и слушали, затаив дыхание.

Я, к сожалению, не мог понять всех тонкостей амхарского языка, но видел, как Габре воспламенялся все больше и больше. Он великолепно владел голосом.

— Это стихи о черном человеке, который, попав в страну снега и бурь, родил великого сына, — пояснил мне учитель, когда Габре окончил читать. — В нем слились воедино суровая мудрость севера и жаркая сила африканского солнца.

Ю. Дьяконов
Пирожок с рыбой

Бой за остров был коротким. Собственно, никакого боя могло и не быть… Но когда с советского эсминца о эфир полетела радиограмма «Генералу Итиро. Советское командование во избежание бессмысленного кровопролития предлагает гарнизону острова немедленно сложить оружие…», никто не ответил.

Белесый утренний туман стлался над океаном, скрывал от противника готовые к броску корабли советского десанта. Снова и снова передавал радист обращение к генералу Итиро. Но остров молчал.

Где-то там, на востоке, из воды вставало солнце. Начинался новый день, последний день второй мировой войны, первое сентября 1945 года. Туман местами поредел, раздвинулся. Теперь советским десантникам стал виден угрюмый, всхолмленный сопками остров. Он выставил вперед пики мысов, острые зубья прибрежных скал. Затаился, как громадный невиданный зверь. И молчал. И в этом молчании, в этой тишине, казалось, была

главная опасность.

В боевой рубке эсминца командир бригады десантников в последний раз глянул на часы и сказал:

— Все, товарищи офицеры. Дополнительное время тоже истекло. — Он невесело усмехнулся. — Не хотят господа самураи добровольно открыть двери. Придется постучаться. Начальник штаба, передайте приказ всем: действуем по варианту два. Исходные позиции занять к шести ноль-ноль.

* * *

Тройка торпедных катеров с разведчиками на борту вырвалась из тумана и на полном ходу понеслась в бухту. За ними показались быстроходные десантные суда.

Приблизившись, катера дерзко открыли огонь по берегу из спаренных зенитных пулеметов и пушек. Одна из очередей резанула по высокой мачте у пристани. Большой военный флаг Японии — белое полотнище с красным кругом солнца посредине — трепыхнулся и с обломками мачты рухнул в воду.

И тут кто-то на берегу не выдержал. По катерам ударила пушка артиллерийского дота, скрытого где-то в отвесной скале. «Ду-ду-ду-ду» — будто запинаясь, заговорили вслед за пушкой крупнокалиберные пулеметы с Двугорбой сопки. Ударила батарея с левого мыса бухты. Вокруг катеров взметнулись столбы воды от разрывов снарядов, завизжали осколки. Но катера, резко меняя скорость и направление, оставались неуязвимыми, дразнили японцев, прошивали пулеметным огнем все подозрительные места берега.

— Давай, самураи! Давай! — кричал командир разведроты Александр Кисурин, стоя на ходовом мостике головного катера. — Братишка! Сыпани-ка вон по тем кустикам!.. А теперь вон туда, — просил он пулеметчика. — А-а-а! Не понравилось! Зашевелились!..

Разведчики Кисурина мигом засекали все новые и новые огневые точки врага и открытым текстом по рациям передавали данные артиллеристам кораблей.

Когда разрывы приблизились к катерам вплотную, один из них вдруг резко изменил курс и понесся вдоль берега, оставляя за собой густую черную стену дымовой завесы. Японцы все еще продолжали стрелять по тем же местам, а торпедные катера, сделав свое дело, на всем ходу зигзагами уходили в океан, скрываясь за стеной дыма.

И тотчас грохнули орудия кораблей поддержки десанта. На

берегу взметнулись вверх развороченная земля, выдернутые с корнем кусты, осколки камней. Снаряды рвали, кромсали землю, бревна блиндажей и перекрытий противника.

А в это время десантные суда на полном ходу мчались к острову. Когда до берега оставалось триста-четыреста метров, «сыграли катюши». Через головы десантников хвостатыми кометами понеслись рой за роем мощные реактивные снаряды… На месте первой линии траншей и пулеметных точек врага бушевали огненные смерчи. Горело все: трава, кусты, железо, люди. Под ногами самураев горела земля.

За сплошной завесой огня десантники, расчищая себе путь огнем автоматов и гранатами, растекались по острову.

После залпов «катюш» ринулись вперед десантники еще в четырех местах острова. А за ними на отвоеванные плацдармы уже высаживались вторые эшелоны автоматчиков, минометные батареи, противотанковые пушки, гаубицы. Все это с ходу яростно вступало в бой. Минометчики стеной разрывов преградили путь резервам противника, дезорганизовали, разметали по сопкам. Противотанковые ружья, пушки прямой наводкой хлестали по амбразурам. Один за другим замолкали доты и дзоты врага.

Уже выскакивали из развороченных блиндажей японские солдаты с перекошенными лицами и поднятыми вверх руками. Уже советские автоматчики перекрыли входы в туннели, пронизывающие сопки насквозь. Оседлали дороги. Разгромили штабы двух батальонов. Разорвали связь между частями врага…

На всех высоких точках острова взвились белые флаги. Гарнизон острова капитулировал.

Самурайская «честь» генерала Итиро за два часа штурма обошлась в триста восемьдесят жизней.

* * *

Начало двадцатого года правления Сёва[3] не предвещало никаких потрясений. Как всегда, накануне Нового года жители поселка Акапу, что раскинул свои домики на тихоокеанском побережье острова, поставили по обе стороны дверей своих домов большие сосновые ветки и по три среза молодого бамбука. Навесили над входом толстые соломенные веревки, украшенные гохэй[4]. Подвязали к ним кто апельсин, а кто и маленького кальмара… Все это для того, чтобы Долголетие, Здоровье, Счастье вошли в дом.

В новогоднюю полночь в храме прозвучали 108 ударов большого колокола. А ранним утром девушки в красивых новых

платьях набрали в горном ручье «молодой водицы», которая, по поверью, сохраняет здоровье на целый год… Все было, как всегда.

Необычное началось летом. Вести одна страшнее другой взбудоражили поселок. Американцы сбросили атомную бомбу на Хиросиму… Нагасаки… Русские вступили в Маньчжурию… Идут бои на Сахалине… И тут официальные сообщения обрывались. Что на самом деле творится в Маньчжурии и в Корее, на Южном Сахалине и на других островах Курильской гряды? Что ждет население поселка? Никто не знал.

Но когда в середине августа вдруг собрались и уехали на остров Хоккайдо со всем своим добром хозяева лесопилки и обеих поселковых лавок, скупщик рыбы и владелец рыболовецких шхун, в поселке началась паника. Что делать? Бежать? Куда? На чем? Да и разве убежишь от своего дома… Негде купить ни горсти риса, ни пачки табаку, ни керосина для лампы. Все увезли с собой лавочники.

Еще через три дня, утром 19 августа, сонтйо[5] поспешно перебегал от дома к дому и взволнованно сообщал:

— Спешите к сараю лесопилки! Господин офицер сделает чрезвычайной важности распоряжение.

Первыми к лесопилке прибежали мальчишки во главе с Сандзо Такита. Они расположились за штабелем ошкуренных, готовых к распиловке бревен и оттуда наблюдали за происходящим.

Сандзо не спускал восторженных глаз с офицера. Какой он строгий и величественный! Сандзо уверен: именно таким и должен быть настоящий самурай. Как блестят ордена на его груди! Но самое главное — самурайский меч.

Сандзо знает этого офицера, не раз его видел в поселке. Тот был каким-то большим начальником в гарнизоне, расположенном рядом, в сопках, потому что все солдаты и унтер-офицеры, завидев его, застывали как вкопанные и по одному его слову бежали выполнять приказание. Даже сам хозяин лесопилки оказывал ему особые знаки почтения, а сонтйо от одного его взгляда бледнел и начинал заикаться. Сандзо в играх с мальчиками всегда подражал этому офицеру. Ходил так же. Смотрел так же. И так отчаянно рубился деревянным мечом, что никто его не мог победить… Тайком от взрослых Сандзо даже собирал окурки толстых пахучих сигарет с золотой звездочкой на ободке, которые курил офицер. Таких сигарет больше никто не курит. Сандзо тоже хотел научиться. Но так захлебнулся дымом, что минут двадцать никак не мог откашляться. И все же окурки дорогих сигарет не бросил. Сложил в коробочку и спрятал в

потайном месте. Потом научится.

Когда Сандзо вырастет, он обязательно станет офицером и с таким же вот мечом поедет на войну. Он будет сражаться с презренными китайцами и корейцами… Но самые главные враги Японии — русские! Так всегда говорит господин учитель в школе. Уж он-то знает! Учитель сам был когда-то офицером и храбро воевал с русскими. На уроке географии он показывал, какие обширные земли занимают русские. Но, оказывается, у них нет прав на эти земли. Вся земля до Урала должна принадлежать японцам!

Сандзо вспомнился последний урок перед каникулами.

Господин учитель энергично ткнул указкой в полуостров Камчатка и спросил:

— Видишь, Сандзо, этот пирожок?

— Вижу, — отвечал Сандзо. — Я знаю. Это Камутякка[6].

— Правильно, — сказал господин учитель. — А ты знаешь, что там есть?.. Не знаешь… А скажи, Сандзо, ты любишь рыбу?

— Очень люблю, господин учитель.

— Так знайте, дети. У нас, у японцев, очень мало рыбы. А Камутякка — это пирожок, начиненный самой дорогой рыбой! Когда ты, Сандзо, вырастешь большой и станешь солдатом, ты отнимешь у русских этот пирожок с рыбой?

— Отниму! Господин учитель!

— Отнимем, господин учитель! — хором подтвердили остальные ученики и закричали: — Банд-за-а-ай![7].

Мальчишки кричали «бандой», а их учитель, отставной подпоручик[8], гордо выпятив грудь с двумя военными медалями на гражданском кителе, щелкал воображаемыми шпорами и, улыбаясь, вспоминал те прекрасные времена, когда он на рыжем жеребце носился по улицам русского города Хабаровска и шашкой рубил красных бунтовщиков.

Низкорослый офицер с тремя звездочками в петлицах сидел на стуле под навесом лесопилки. Между широко расставленных ног в сапогах с твердыми негнущимися голенищами он поставил свой кривой самурайский меч с длинной рукояткой и картинно, как перед фотографом, опирался на него руками. Он сидел прямо, выпятив грудь, глядя куда-то поверх голов. Его одутловатое лицо с опухшими веками выражало брезгливость и презрение. Старый побелевший шрам, перечеркнувший его щеку от виска до подбородка, делал лицо еще более угрюмым и страшным. Стоявший рядом с офицером сонтйо подобострастно улыбался ему.

Наконец, когда возле лесопилки собрались почти все жители

поселка, сонтйо, поклонившись офицеру в пояс, не сказал, а будто пропел:

— Уважаемый господин сйоко[9] Масаносукэ Кацумата, наш храбрый доблестный Кацумата тайи[10], соблаговолит сделать нам распоряжение от имени доблестного командования императорской армии. — И снова застыл перед офицером в низком поклоне.

Кацумата встал. Отставил ногу и, опираясь рукой о меч, стал выкрикивать:

— Доблестная японская армия никогда не сложит оружия! Мы разобьем всех врагов! Мы уничтожим русских варваров! Мы обожаем нашего императора! Богиня солнца — Аматерасу поможет нам! Древний дух Ямато[11] в наших сердцах! Мы пронесем знамя Страны восходящего солнца на наших штыках до Урала! — Он не говорил, а будто лаял. Рубец на щеке побагровел, и лицо стало еще страшней. Передохнув, Кацумата продолжал: — Командование императорской армии заботится о народе! Мы будем тут, на берегу, сражаться с русскими. Командование приказывает вам уйти в лес на склоне вулкана. Через четыре часа все должны покинуть поселок. Мы утопим русских в бухте. А если кто из них хоть на миг осквернит нашу землю своим сапогом, того мы повесим на деревьях!.. Пусть здравствует наш божественный император Хиросито! Банд-за-а-а-ай!

Ошеломленные люди вразнобой неуверенно прокричали «бандзай». Капитан Масаносукэ Кацумата повернулся кругом и, ни на кого не глядя, печатая шаг и поддерживая на весу самурайский меч, пошел к военному городку.

* * *

Дробно стучат по камням подошвы гэта[12], плачут дети, звучат приглушенные испуганные голоса — беженцы из Акапу спешат уйти подальше от своих домов, где вот-вот загремит война.

Временами эхо доносит в долину со стороны сопок треск пулеметных очередей. А то вдруг ухнет далекий взрыв. Люди вздрагивают и ускоряют шаги. Что это! Учения? Или уже пришли страшные русские?!

Двенадцатилетний Сандзо несет рогожный куль с остатками риса и большой закопченный чайник. Рядом дедушка Асано. На его спине горой топорщатся одеяла. Мама Сандзо, Фудзико, идет впереди. За ее спиной привязан двухлетний сынишка Мицу. Он спит, прижавшись щекой к ее спине, и при каждом шаге кивает

черной непокрытой головой. Рука дедушки, что лежит на плече Сандзо, с каждым шагом становится все тяжелей. Наконец он сходит с тропинки и говорит: «Отдохнем». Люди обгоняют их. Но две семьи рыбаков, которые живут по соседству, тоже сделали привал. И тотчас около них, как из-под земли, появился полицейский Нобухиро Ока. Ощерив желтые большие, как у лошади, зубы, вкрадчиво спросил:

— Отдыхаете?

— Немножко… Только минутку передохнем, — заискивающе заулыбались ему взрослые.

— Когда я был в Хабаровске, — ни к кому не обращаясь, сказал полицейский, садясь на большой камень, — у нас был такой случай. Устал один солдат и сел отдохнуть… Так русские комиссары содрали с него кожу заживо и бросили собакам на съедение. Господин тюи[13] показывал нам фотографию. Лица совсем нет, даже узнать нельзя…

Взрослые испуганно переглядываются. Матери прижимают к себе детей. Все вскакивают. Торопливо навьючивают свою поклажу… И опять по камням тропинки стучат гэта. Еще быстрей.

* * *

Приказом командира бригады капитан Александр Кисурин был назначен комендантом поселка Акапу.

Первые три дня после штурма были заполнены делами до отказа. Вылавливали и разоружали солдат противника, разбежавшихся по сопкам во время штурма. Отправляли их под конвоем в лагерь для военнопленных, созданный на самом юге острова. Свозили в одно место трофейное оружие, боеприпасы. Тянули связь. Устанавливали посты для наблюдения за океаном. Переоборудовали японские землянки под жилье для подразделений, разместившихся в сопках на севере острога.

К концу третьего дня капитан наконец зашел в контору лесопилки, им же облюбованную под комендатуру.

— Товарищ капитан! В поселке Акапу все в порядке! Никто из японских жителей не появлялся! Докладывает дежурный по комендатуре сержант Сидоров! — лихо щелкнув каблуками, радостно сообщил дюжий детина с тремя золотыми полосками на погонах.

— Вольно! — скомандовал капитан, снизу вверх глядя на сержанта. — Так чему же ты радуешься?.. Комендатура?! А жителей ноль целых…

— Так оно же спокойней, — беззаботно ответил сержант. —

Сиди и морем-окияном любуйся. Красота!.. — Но, заметив недовольство в глазах командира, тотчас сменил тон: — Вы не беспокойтесь, товарищ капитан. У нас все в ажуре. Пусть только появляются. И рису двести мешков, и этого… соусу из сои. И табаку два ящика… И все бесплатно… как при коммунизме!

Капитан не успел ответить. На столе загудел зуммер полевого телефона. Сержант снял трубку.

— Товарищ капитан, вас!.. Полковник Дементьев, — добавил он вполголоса.

В трубке чуть заглушенный расстоянием рокотал бас заместителя командира бригады по политчасти.

— Это ты, Кисурин?

— Я, товарищ полковник.

— А как японцы? Появились?

— Нет, товарищ полковник.

— Так где же они?

— Не знаю, товарищ полковник. Мы обыскали, товарищ полковник…

— Вот заладил! Товарищ полковник, товарищ полковник! Я это и без тебя знаю. А вот где люди, ты знаешь?.. На вулкан этот, на Тятю, лазили?

— Влезли, пока можно было. Там козел только проскочит…

— Эх ты, разведчик… — с упреком сказал полковник. И в его голосе капитан услышал такую усталость, что ему стало стыдно.

— Мы найдем их, товарищ полковник!

— Ищи. Помни — там дети, женщины, старики. Вишь как запугали их самураи. Черт те куда залезли! Мы для них страшнее сатаны… Все понял, Саша? — Перейдя на неофициальный тон, устало спросил полковник.

— Все, Иван Константинович. Извините. Дел очень было много. А то бы я давно…

— Знаю. Ну, добро, казак. Жду хороших вестей.

Кисурин медленно положил трубку и вытер вспотевший лоб.

— Понял, Сидоров?..

— Еще бы, товарищ капитан… Возьмите меня с собой!!

* * *

Двенадцатый день живут беженцы из Акапу в шалашах из веток и травы, построенных в лесу на склоне потухшего вулкана Тятя. Запасы риса пришли к концу. Питались отварами трав и съедобными кореньями. Некоторые хотели спуститься вниз, чтобы принести из дома кое-что из еды. Но единственный представитель

власти, полицейский Ока, не разрешил.

Утром тринадцатого дня, когда туман еще окутывал подножие горы, беженцев разбудил гром выстрелов. Сначала канонада звучала глухо, потом приблизилась. Казалось, пушки и пулеметы стреляют со всех сторон, где-то совсем рядом.

— Это гремят пушки нашей победы! Наши доблестные самураи бьют русских! — закричал Ока. — Сейчас мы услышим громовое «банд-за-ай»! И… когда разрешат, можно будет спуститься в долину.

Но измученные голодом и страхом люди не выразили радости. Они тревожно вслушивались, пристально вглядывались в стену тумана, будто могли что-то увидеть за ней. И вздрагивали при каждом залпе.

— Плохо, — сказал дедушка Асано и покачал седой головой.

— Что-о? Что вы сказали? Повторите? — приказал Ока.

— Если вы требуете, Ока-сан[14], я скажу громко, — ответил старик. — Подождите радоваться. Это бьют пушки с кораблей. Я ведь был моряком.

Ока задохнулся от возмущения:

— Вы… вы… Асано Такита, борусиэбику![15] Вы не верите в нашу победу! — он сощурился, будто впервые увидел старого рыбака, и, щелкнув лошадиными зубами, поставив ноги по стойке «смирно», отчего они сразу стали похожими на большую букву «о», сказал: — К сожалению, Такита-сан, я должен вас арестовать.

Люди вокруг неодобрительно зашумели. Ока оскалил зубы в улыбке:

— Не волнуйтесь, пожалуйста. Не сейчас. После победы, конечно. — И, надувшись от важности, торжественно закончил: — Она придет к вам, когда последний русский комиссар будет утоплен в океане! Ждите! — И зашагал прочь.

Гром разрывов и трескотня пулеметов постепенно удалялись куда-то в сопки, а потом и совсем смолкли. Туман рассеялся. Но все равно отсюда ни знакомой бухты, ни родного поселка не было видно. Люди ждали. Но полицейский Ока не появлялся.

Взобраться на выступ скалы, откуда все было видно, вызвался худой молодой мужчина, не попавший в армию из-за болезни. Он пошел и вернулся неожиданно быстро:

— Там… там, — и задохнулся в кашле, — на сопках… везде… белые флаги…

Дедушка Асано третий день отказывается от пищи.

— Корми детей, Фудзико. Им жить надо, — говорит он невестке. И снова сидит, поджав под себя ноги, у входа в шалаш. Слегка покачивается его седая голова. Губы беззвучно шепчут что-

то. А глаза смотрят через непроницаемую стену деревьев куда-то вдаль.

Сандзо очень жаль дедушку, жаль маму и брата Мицу. Он ничего еще не понимает и все время просит нигиримэси[16]. И Сандзо решился. Он спустится в поселок. Он принесет сушеной рыбы и морской капусты. Много принесет. Всем хватит. Сандзо будет ползти тихо, как ящерица. Русские не увидят его.

* * *

Разведчики Кисурина начали поиск еще до восхода солнца. Снова тщательно излазили лес на склонах вулкана. Никого не нашли. Пытались найти место, где можно залезть на скалы. Добровольцы расцарапали себе руки, изорвали одежду об острые камни, но выше пяти метров никто подняться не смог. Тогда Кисурин приказал отдыхать.

— Ну и вулканчик нам попался! — зло сплюнул солдат с гвардейским знаком и полдюжиной боевых медалей на гимнастерке. — Лучше б снова Кенигсберг брать. Там хоть знал, что к чему…

— Да-а уж кому Тятя, а нам проклятье! — поддержал его сержант Сидоров, которому санинструктор перевязывал разбитую руку.

— Стоп, хлопцы. Не пищать! Смените пластинку, — сказал капитан. — Думать надо. Искать. И найти. Полчаса на еду и отдых. А потом густой цепью обыщем каждый сантиметр. Все!

Небольшого роста, широкоплечий, крепкий, капитан легко, как мячик, подскакивая, сбежал по крутому склону метров на сто ниже разведчиков. Взобрался на высокую скалу, петушиным гребнем выпершую из земли, и в который уже раз посмотрел вверх, на вулкан. Там, где остались разведчики, кончается наиболее пологая часть вулкана, поросшая высокими соснами с зелеными полянками, покрытыми непролазными зарослями четырехметрового курильского бамбука. Выше разведчиков почти отвесно поднимается тридцатиметровая иссеченная временем, вся в трещинах, гигантская каменная ступень, образуя непреодолимый каменный пояс. В нескольких местах он разорван глубокими ущельями. Выше, как бы опираясь на этот каменный пьедестал, снова идет редкий хвойный лес и полоса каких-то кустарников. Еще выше — до самой вершины со щербиной кратера, покрытой нетающим снегом, — царство голых скал и каменных россыпей.

«Где же люди?.. Неужели там, в этом лесу, выше каменной

великаньей ступени, в двухстах метрах над головами разведчиков? Но ведь этим путем туда не могли забраться женщины и дети. Значит, есть другой путь! Он где-то здесь, в этих зарослях… Тут и будем искать», — решил Кисурин.

* * *

Оказалось, что принять решение легче, чем осуществить его. Трижды подходил Сандзо к краю ущелья. Заглядывал в бездонную глубину и отскакивал назад. Он сел и заплакал. Потом стал ругать себя самыми обидными словами. Ему вспомнилось, как дедушка сидит у шалаша, как трясется его голова… И злость на самого себя, на свою слабость закипела в нем. Сандзо, держась за корень дерева, росшего у самого края, ногами вперед медленно сполз вниз. Нащупал узкий выступ и сделал первый шаг… Потом второй, третий… А сколько нужно! Триста двадцать шагов сделал Сандзо, когда они убежали сюда от русских. Но тогда впереди с маленьким Мицу за спиной осторожно шагала мама. А сзади был дедушка Асано. И впереди и сзади было много других людей. А теперь он один. Тогда на ногах были легкие дзори[17]. Тридцать семь, тридцать восемь. Главное — не думать о пропасти. Потому что тогда ноги становятся как ватные… Дзори развалились уже на третий день… Пятьдесят три, пятьдесят четыре… Ох, какие острые камни под ногами. Как кинжалы. Вот бы надеть гэта. Но в деревянных гэта разве удержишься на таком карнизе… Об этом тоже нельзя думать. Нельзя!.. Сто двадцать девять, сто тридцать. Сандзо, прижимаясь всем телом к скале, осторожно делает шаг правой ногой и приставляет левую. Опять правую… С каждым шагом каменная тропа опускается все ниже и ниже. Теперь карниз так расширился, что можно идти по нему не боком, а прямо. Но тогда можно нечаянно посмотреть вниз… Ох, как кружится голова!.. Двести семьдесят пять…

— Крра! Кр-р-а! — вдруг закричал большущий черный ворон. Он пролетел так близко, что даже ветром пахнуло в лицо от его крыльев.

— Что ты кричишь! Я же не дохлая лошадь. Я живой!.. Сколько же было! Было двести! Или сто семьдесят!.. Лучше бы двести… тогда уже скоро. — Сандзо снова шагает, шагает, шагает, как автомат.

В ущелье тень. Прохладно. А у него по лицу струится пот, заливает глаза, капает с кончика носа.

Но вот наконец за очередным поворотом карниз вдруг перешел в узкую промоину, идущую вверх, и под ногами

оказалась твердая, надежная земля. Перед глазами живая зеленая стена. Высокая, в два человеческих роста. Он побежал по зеленому туннелю с высокими шелестящими сводами из стеблей курильского бамбука. Дальше, дальше от каменного ущелья и пустоты под ногами! Пробился через чащу. Поскользнулся и кубарем покатился вниз по склону, покрытому толстым слоем полусгнивших прошлогодних листьев.

Он задержался у старой березы. Встал на четвереньки и замер. В пяти шагах со странным коротким ружьем на груди стоял русский и смотрел на него страшными светлыми глазами.

* * *

Капитан насторожился. Чуткое ухо разведчика сразу уловило шум в зарослях бамбука. Выше необыкновенного двухэтажного дерева. Ближе, ближе. Кто-то напролом пробивался через заросли. Человек или зверь! Говорят, тут даже медведи встречаются. Капитан заученным движением перевел автомат из-за спины на грудь и щелкнул предохранителем.

Из зарослей появилось что-то бело-синее. Кубарем покатилось по склону и остановилось у двухэтажного дерева.

На четвереньках стоял японский мальчишка в синих штанах и светлой рубашке. Деревянные гэта, связанные веревочкой, болтались у него на шее. Кисурин тотчас убрал автомат за спину и засмеялся. А маленький человек все так же стоял на четвереньках и черными раскосыми глазами смотрел на него. И в этих глазах был ужас.

— Здравствуй! Что же ты не встаешь?.. Как ты меня напугал. Я думал, это медведь, — сказал Кисурин по-японски.

Что-то вроде улыбки скользнуло по лицу мальчишки. Он встал на ноги. Напряженный. Готовый в любую секунду броситься бежать. Но ответил вежливо:

— Коннити ва, сёко-сан[18]. — И низко поклонился.

— Как тебя зовут?

— Сандзо Такита, — снова поклонился мальчишка.

— Вот здорово! Ты — Сандзо! Я — Саня, Александр. Понимаешь? — обрадовался Кисурин. — Давай руку, будем знакомы.

— Вакарунай, сёко-сан[19]. — ответил мальчишка, отскакивая назад от протянутой руки Кисурина.

— Ну, ладно, потом поймешь. Ты оттуда? — капитан показал рукой вверх на виднеющийся за уступом лес.

— Вакарунай, сёко-сан! — испуганно повторил мальчишка и

еще отступил назад.

— Вакаранай, вакаранай! — передразнил Кисурин и добавил по-русски: — Врешь ты все. Боишься. — И вдруг неожиданно для самого себя сделал круглые кошачьи глаза, вытянул губы трубочкой и громко сказал: — Мя-а-а-у-у!

— Нэко![20] — удивленно-радостно вскрикнул мальчишка и в глазах его зажегся огонек любопытства.

— Ну вот это другой разговор! — обрадовался Кисурин и по-японски, не очень-то соблюдая правила грамматики, сказал: — Синай нару, хаяку аруку хиру-мэси о табэру! Йоросий?[21].

Но мальчишка понял сразу. Он сглотнул слюну и согласился:

— Йоросий, сёко-сан!

— Вот, хлопцы, вам первый житель Акапу! — сказал Кисурин, подходя к разведчикам. — Кормите. Угощайте. И займите его, чтоб не скучал. Вы, Сидоров, со своим отделением остаетесь здесь. Остальным со всем снаряжением — за мной!..

Перед Сандзо поставили две банки: со свиной тушенкой и с мандариновым компотом. Положили хлеб, маленькие японские галеты, плитку ириса. При виде такого богатства глаза его восторженно засветились. Утолив первый голод, Сандзо стал незаметно прятать галеты и ириски в карман — делал запасы для своих родных. Сержант глазами приказал солдатам молчать.

После еды Сидоров затеял занимательную игру. Он или кто-нибудь из солдат тыкал пальцем в какую-то вещь и просил назвать ее по-японски. Сандзо называл и весело смеялся, когда солдаты коверкали такие простые и понятные слова…

* * *

Разведчики быстро нашли в зарослях бамбука промоину, выводившую к каменному карнизу.

— Как же они тут с детьми шли? — ужаснулся Кисурин. И приказал; — Прямо с начала тропы через каждые пять метров забивайте крючья и тяните веревку. А то еще сорвется кто.

Разведчики, выравнивая тропу кое-где кирками и оставляя за собой надежно закрепленную веревку, выбрались на верхнюю площадку. Когда они подходили к шалашам, построенным под старыми елями и пихтами, там поднялся переполох. Кисурин остановился и обратился к людям с давно обдуманной речью:

— Жители Акапу! Вы напрасно боитесь русских солдат. Никто не тронет ни вас, ни вашего имущества. Спускайтесь в поселок и живите так, как вы привыкли. Можете ловить рыбу или добывать из океана морскую капусту. Я, русский комендант

поселка капитан Александр Кисурин, гарантирую вам спокойствие и неприкосновенность. Я знаю: вы голодны. Прошу вас. Подойдите и возьмите продукты, чтобы подкрепить силы. А потом мы поможем вам спуститься вниз.

Люди с изможденными худыми лицами стояли, прижимаясь к стволам деревьев, выглядывали из шалашей и молчали. Страх перед русскими, воспитанный японской военщиной, японской печатью, японскими учителями, сковывал их. Они боялись поверить.

Никто не сделал ни одного движения. Тишина… И вдруг откуда-то из-за спины послышался приближающийся мальчишеский крик:

— Такита-сан! Росиадзин йоросий! Росиадзин хэйтай йоросий![22]

Кисурин обернулся. Это бежал Сандзо.

* * *

Смышленый Сандзо понял, куда ушли почти все солдаты с капитаном. Поиграв в слова, Сандзо предложил самому маленькому по росту солдату, ефрейтору Коле Круглову, поиграть с ним в ловитки. Коля смутился.

— Ну чего ты, ефрейтор, — сказал ему сержант Сидоров, — поиграй с мальцом. Капитан приказал забавлять его.

Сначала они бегали друг за другом между деревьями поблизости от стоянки. Солдаты вместе с Сидоровым хохотали до слез, глядя, как ловкий маленький Сандзо обманывает, увертывается от Круглова. Игра шла с переменным успехом. Потом Сандзо побежал, виляя между сосен, и нырнул в заросли курильского бамбука. Кругов полез за ним, но скоро понял, что в такой чаще маленького мальчишку не найти.

— Сандзо! Сандзо! — кричал ефрейтор.

Но верхушки четырехметровых стеблей бамбука не шевелились. Мальчишка не откликался… А Сандзо тем временем уже шел по каменной тропе. Теперь ему не было так страшно. Он держался за крепкую веревку. В ущелье ярко светило солнце. И недалеко были веселые солдаты Кисури-сана.

* * *

— Кисури-сан йоросий! Росиадзин хэйтай йоросий![23]— кричал Сандзо, подбегая к японцам. Его сразу окружили. Дальше

он так зачастил, что капитан сумел только понять слова: хорошо, пища, домой, Акапу…

— Аната, мэсиагару додзо[24] — повторил капитан приглашение.

Лица у людей будто оттаяли. Женщины подходили к солдатам, которые уже раскрыли свои доотказа набитые вещмешки. Они низко кланялись, улыбались, брали марлевые мешочки с маленькими японскими галетами вперемешку с разноцветными круглыми леденцами. Снова кланялись и благодарили: «Аригато, росиадзин, аригато»[25]. Солдаты совали в руки детям ириски и железные банки с мандариновым компотом, взятым из японских офицерских запасов.

Ребятишки брали гостинцы, тоже кланялись и бегом мчались к своим шалашам. Спустя некоторое время, насытившись, они опять прибежали. Полукольцом окружили солдат. Темными любопытными глазами рассматривали незнакомую одежду, оружие, амуницию.

Сандзо, пришедший вместе с русскими, стал для них героем. Он вытащил из кармана блестящую гильзу от автомата, подаренную ему сержантом Сидоровым. Мальчишки рассматривали ее, трогали пальцами и цокали языками от удовольствия. А когда Сандзо приложил гильзу к губам, как научил его Коля Круглов, и свистнул, япончата закричали: «Ара! Ара!»[26] и запрыгали от восторга. Все, как один, захотели иметь по такому же замечательному свистку.

У солдат нашлись две или три гильзы. Отдали. Но это только еще более раззадорило остальных.

— Товарищ капитан! Разрешите «наделать» им свистков! — попросил пожилой усатый старшина. — Уж так им хочется.

— Ну, давай! — согласился Кисурин. — Только осторожно, не испугай.

Старшина повернулся к мальчишкам спиной, направил автомат на вершину Тяти и в несколько длинных очередей опорожнил полмагазина. Когда раздались первые выстрелы, ребятишки шарахнулись в стороны. Но фонтан золотых стреляных гильз, брызжущий из автомата на землю, заворожил их. И как только старшина спрятал автомат за спину, мальчишки с визгом кинулись подбирать еще горячие «свистки». А еще через две минуты поднялся такой свист на все лады, что взрослые только морщились и затыкали уши пальцами.

Когда жители Акапу с разведчиками Кисурина, помогавшими им нести вещи, возвращались к своему поселку, на привале у озера произошел небольшой эпизод. Сержант Сидоров прилег

было на траву, но тотчас вскочил. Под бок попался камень. Он хотел его отбросить и улечься снова, но глянул на место, где лежал камень, и сдвинул пилотку на затылок. В ямке лежал окурок. Сержант оглянулся. Все занимались своими делами. Он внимательно осмотрел окурок сигареты и присвистнул. Подождав, пока все встали и пошли дальше, позвал капитана. Кисурин тоже внимательно осмотрел окурок:

— Странно, — сказал он. — Сухой, не пожелтел. А позавчера шел дождь. Его положили под камень — значит, спрятали… Тут вот поясок и золотая звездочка. Такие сигареты курят только офицеры, да и то не всякие. Что же это выходит?..

Сандзо, который был рядом с капитаном, напряженно смотрел на окурок, и на его лбу проступали бисеринки пота.

— Сандзо, ты знаешь, кто курит такие сигареты?

Сандзо несколько секунд растерянно смотрел на Кисурина, потом, покрутив головой, ответил:

— Сиру най, сёко-сан!.. Сиру най![27] — И побежал догонять своих.

Сержант хотел удержать мальчишку, но капитан остановил.

— Не надо, Миша. Все равно сейчас ничего не скажет. — Подумал и добавил: — Так вот оно что. Мы с тобой думаем, что все господа самураи в лагере военнопленных. Ан нет. Какой-то зубр у нас под носом ходит.

— И чего он тут крутился? — вслух рассуждал сержант. — Может, к жителям хотел добраться? А может, у него там еще какой интерес есть?.. Если он по карнизу залезет наверх, его и батальоном оттуда не выкуришь.

— Правильно, Миша. Нужно запечатать. Тут мы его скорей поймаем.

— Чем закрыть, товарищ капитан! Была бы хоть одна мина.

— Это идея! Подведем под самурая мину! — расхохотался капитан.

Сержант Сидоров с ефрейтором Кругловым вернулись к началу тропы. В пустых металлических ящиках из-под патронов кинжалом провертели дырки, вставили в них по куску телефонного кабеля с расплетенными стальными жилами. Один ящик положили в самом начале тропы, другой — подальше. Коля на куске фанеры старательно выписывал японские иероглифы, то и дело поглядывая в «Русско-японский военный разговорник». Кол с надписью воткнули в щель у начала тропы.

— Ну как, похоже? — спросил Коля.

Сержант подошел. С фанерки на него смотрели два загадочных знака. А рядом по-русски написано: «Осторожно!

Мины!» В ущелье из металлических ящиков грозно топорщились во все стороны стальные усики.

— Не знаю, как самурай, а я бы ни в жизнь не полез!..

Они догнали своих уже почти у поселка.

— Товарищ капитан! «Минное поле» поставлено! — доложил Сидоров. И все трое расхохотались.

* * *

Не знал маленький Сандзо Такита, кто такой капитан Масаносукэ Кацумата. Не знал, за что получил он капитанский чин и блестящие ордена… А вот офицеры части, в которой служил Кацумата, знали. На их глазах за короткий срок он из скромного подпоручика, командира взвода, превратился в капитана, заместителя командира батальона. И хотя сами эти офицеры не были мягкосердечными, их подчас удивляла жестокость Кацумата. Они даже побаивались его.

Кацумата считал себя истинным самураем. Ведь в его жилах течет благородная кровь даймё[28] провинции Овари. А настоящий самурай знает только одно дело — войну. Бить, убивать врагов великой Японии, завоевывать земли, подчинять народы — вот истинно самурайское призвание.

Его послали на этот остров, где нет войны и, кажется, некого убивать и подчинять. «Нет, — говорил себе Кацумата, — враги везде есть! Нужно только уметь разыскать их…»

Болтнул спьяна лишнее молодой поручик, посмел непочтительно отозваться о высочайшей особе… А Кацумата тут как тут. Он все видит. Все знает. Проходит время, и неосторожного поручика увозят куда-то жандармы. А подпоручик Кацумата вдруг неожиданно для всех назначается вместо него командиром роты. Через год за другие подобные заслуги он получает чин поручика.

Вообще-то Кацумата считает, что его способности лучше всего проявились бы в жандармерии. Но начальству виднее…

Готовясь к большой войне, высшее командование поставило перед офицерами на Курильских островах задачу: превратить каждый остров в неприступный бастион. В условиях строжайшей секретности возводились сотни дотов и дзотов, подземные казематы, блиндажи, траншеи. Пробивали через сопки туннели, где можно укрыться от любой бомбежки и незаметно для противника перебрасывать войска с одного места в другое.

Работы на севере острова велись под наблюдением военного инженера. Но полновластным хозяином над восемьюстами

военнопленными корейцами и китайцами, строившими доты и туннели, назначили поручика Масаносукэ Кацумата. Вот тут он и проявил свой самурайский дух в полной мере.

Кацумата говорил офицерам: «Когда я вижу рожу корейца или китайца, моя рука сама хватается за пистолет. Их нужно уничтожать, как крыс! И чем больше, тем лучше…»

Строительство для пленных было адом. Без всякой техники, обыкновенными ломами и кирками с восхода до захода солнца долбили пленные каменное нутро сопок. На четвереньках, падая, цепляясь сбитыми в кровь руками за острые выступы скал, из последних сил тянули изнуренные люди на деревянных салазках тяжелые каменные глыбы. Когда кто-нибудь падал в изнеможении, к нему тотчас подбегали надсмотрщики из солдат, которых Кацумата сам отобрал для этой цели. На несчастного обрушивался град ударов. Били ногами, прикладами. И если он и тут не поднимался, заставляли других пленных волоком тащить его в штрафной барак.

Врачебной помощи в лагере не оказывали. Тем, кто еще имел силы и работал не разгибаясь, два раза в день давали жидкую похлебку из гнилых овощей и горстку риса. Тем, кто, как говорил Кацумата, «ленился», давали только раз в день. А пленных, которые уже не могли работать, Кацумата приказал помещать в штрафной барак и не кормить совсем… Каждый день люди умирали от побоев и истощения. Вот тогда и появлялся фельдшер-японец, чтобы удостовериться, что пленный действительно умер.

Однажды группа военнопленных решила бежать. Кацумата, узнав об этом от шпиков, улыбнулся: «Пусть прогуляются». Но когда ночью беглецы спустились к океану, на мысу вдруг вспыхнули прожектора. И Кацумата, на глазах у специально приглашенных для этого зрелища офицеров, хладнокровно расстрелял их из пулемета.

Количество людей изо дня в день все уменьшалось. Но это не беспокоило коменданта лагеря. Он требовал других. И ему присылали снова и снова. А через месяц-два и эти «свежие» рабы умирали. Их тела сбрасывали со скалы в океан, прямо в стаю вечно круживших тут акул.

Но зато темпы строительства были очень высоки. Инспектирующий генерал остался доволен. Так Кацумата стал капитаном.

А когда все работы были закончены, ему снова оказали доверие. Под его личным наблюдением ночью всех оставшихся пленных загнали в трюмы двух старых негодных бирж. На рассвете буксир вывел баржи далеко в океан. Едва солнце

показалось из воды, сторожевой корабль выпустил по ним торпеды. Взметнулись к небу столбы воды, куски дерева, огонь и исковерканные человеческие тела.

Капитан Масаносукэ Кацумата на катере еще час кружил на месте взрыва. Не выплыл бы кто… И на том же катере отправился лично доложить генералу, что военная тайна надежно спрятана на дне океана. Операция «Встающее солнце» выполнена.

Через месяц храбрый, доблестный самурай капитан Масаносукэ Кацумата был награжден орденом «Восходящего Солнца».

* * *

Возвратясь в свои дома и найдя там все нетронутым, жители Акапу очень удивились и обрадовались. Кроме нескольких пулевых пробоин в стенах, все было цело. Но еще больше удивились они, когда узнали, что хотя лавочники увезли с собой все продукты, рис все-таки будет. Комендант даст его из военных запасов.

— Не может быть! — сомневались одни.

— У них все может быть! — настаивали другие. — Комендант Кисури-сан сказал; «Это ваш рис!.. Армию одевает и кормит кто? Народ! А народ — это вы!.. Сейчас армии нет. Значит, рис ваш».

— Странные эти русские, — сокрушались старики. — Все у них наоборот… Сколько мир стоит, всегда было так: солдат брал. Всегда только брал… А эти ничего на берут. Да еще отдают нам рис — свою военную добычу… Странные люди…

— А нет ли тут какой хитрости? — спрашивали наиболее осторожные.

Но русские исправно давали рис каждый день. И не брали никакой платы.

По вечерам прямо на дощатой пристани свободные от наряда солдаты устраивали танцы под баян. Крутили заигранные пластинки на стареньком патефоне. Три вечера подряд смотрели одну и ту же картину — «Поднятая целина». Пели песни. Русские песни японцам нравились. Нередко со стороны длинных сараев, где вешают для просушки коричневые гирлянды морской капусты, пахнущей йодом, слышался звонкий, типично японский девичий голосок, ведущий знакомую мелодию:

…И пока за туманами
видеть мог паренек,

на окошке на девичьем
все горел огонек…

Ловкий и сообразительный Сандзо Такита пришелся по сердцу русским солдатам. Чуть не каждый день разведчики смеялись, вспоминая, как Сандзо перехитрил сержанта Сидорова и ефрейтора Колю Круглова, удрав от них на склоне вулкана.

Зато и Сандзо именно к ним да еще к капитану Кисурину испытывал наибольшее расположение. В свободное от дежурства время они с Сандзо и другими мальчишками частенько ловили рыбу или упорно овладевали с его помощью японским языком. И ученикам, и учителю было нелегко. Но зато Сандзо уже через неделю мог довольно сносно произносить десятка два русских слов. Здоровался и прощался Сандзо со всеми только по-русски: «Добири утира, Сидоро!..», «До сивиданий ноци, Колья». Круглова он звал только по имени, а Сидорова — по фамилии.

Капитану Кисурину часто требовалось вызвать в комендатуру того или другого жителя. Чтобы разыскать его, посыльный, не знающий японского, тратил нередко полчаса, а то и час. Были и совсем курьезные случаи… Однажды Коля Круглов получил приказание: вызвать к коменданту плотника Мицу Таро. Записав на бумажке имя, Круглов сунул ее в карман, закинул автомат за спину и отправился.

— Мицу Таро! Мицу Таро!.. — кричал он, подходя к очередному дому. Никто не отзывался. И Коля шел дальше. Где-то на середине пути он засмотрелся на девушку, чинившую сети, и забыл, что кричать. Обшарил все карманы — нет бумажки! Наверно, выронил, когда закуривал. «Что же я теперь капитану скажу?» — холодея, подумал Коля. И тут память услужливо вынесла на поверхность два японских слова. «У-у-х-х! — обрадовался Коля. — Вспомнил!» Закричал ефрейтор от радости громче прежнего. С расстановочкой, чтоб все поняли:

— Мидзи… Фуро!.. Мидзи Фуро!..

Теперь из домов почему-то стали выскакивать женщины с озабоченными лицами и что-то объясняли ему. Коля не понимал. Сердился. И снова спрашивал:

— Мидзи Фуро есть!.. Нету!.. Ну так чего ты кричишь?! — и, сердито махнув рукой, шел дальше…

Он вернулся в комендатуру через чае и доложил:

— Товарищ капитан! Плотника Мидзи Фуро в поселке не обнаружено!

— Как! Как! Повтори! — в серых глазах капитана запрыгали веселые искорки.

— Мидзи Фуро, товарищ капитан! — браво повторил Коля.

— Так вот кто начальник паники! — сказал капитан и расхохотался.

Оказывается, пока Круглов ходил и кричал, у капитана в комендатуре перебывали почти все хозяйки поселка и, кланяясь, заверяли, что, как приказал комендант, баня скоро будет готова…

Память подвела Колю. На поверхность всплыли два сходных по звучанию, но совсем неподходящих слова: «вода» и «баня».

Быстрее всего справлялась с подобными поручениями «легкая кавалерия», или «лекалери», как говорили япончата.

Сандзо с товарищами целыми днями играл где-нибудь поблизости от комендатуры. Выйдет капитан и крикнет:

— Легкая кавалерия! Ко мне!

И тотчас откуда-то из-за угла дома или из-за штабеля досок выскакивает табунок ребят и, топоча, как настоящие жеребята, деревянными подошвами гэта, бежит к комендатуре. Сандзо, как заправский самурай, выпячивает грудь и подает команду:

— Ки-о цукэ![29] — И докладывает: — Кисури-сан! Лекалери гута!

— Ясумэ![30] — тотчас откликнется, смеясь, Кисурин и дает «лекалери» задание.

Взметнув песок перекладинками гэта, «лекалери» несется выполнять задание. И вскоре нужный человек уже отвешивает низкий традиционный поклон у двери Кисури-сана.

По приказанию капитана за хорошую службу Сандзо с товарищами каждый вечер получал от старшины пару банок любимого мандаринового компота и мешочек вкусных солдатских галет с леденцами. «Лекалери» тут же, где-нибудь на досках, вскрывала банки и устраивала пир.

* * *

Когда 6 августа 1945 года американцы взорвали атомную бомбу над Хиросимой, капитан Кисурин, как и многие другие, недоумевал. Зачем такое зверство! Зачем убито сто тысяч ни в чем неповинных мирных людей!.. Он тогда не мог знать, как и не знали другие, что вновь испеченный президент США Гарри Трумен, отправляя в полет эту черную смерть, сказал своим приближенным: «Если она, как я полагаю, взорвется, то у меня, безусловно, будет дубина для этих русских парней…»

Только три месяца назад пал Берлин. Еще пол-Европы лежало в развалинах. А уже новый претендент на мировое господство

поднимал атомную дубину и грозил ею советским людям… Бросили на Хиросиму, чтобы испугать Москву.

Ничего этого не знал капитан Кисурин. Но он знал главное: теперь здесь проходит граница СССР. В двадцати пяти километрах от острова — оккупированный американцами Хоккайдо. Бывших союзников отделяет только холодная вода пролива Измены.

Вечером, когда в домах селения погаснут красноватые огни керосиновых ламп и жители спокойно уснут, начинается вторая жизнь комендатуры. Выставляются посты и дозоры. Вдоль побережья океана чуть скрипит песок под сапогами патрулей. Время от времени раздастся негромкий оклик: «Стой! Кто идет?»… Иногда где-то на берегу вдруг прозвучит выстрел, резанет воздух короткая очередь автомата. И снова тишина.

Теперь тут граница СССР и ее стерегут советские бойцы. И, оказывается, есть от кого беречь.

4 сентября в 2 часа 32 минуты в кромешной темноте ночи с океана замигал чей-то сигнальный огонь. Кого он зовет? Чего ищет?.. Шестого утром, когда туман еще стлался над океаном, в ста метрах от берега из воды вдруг высунулся перископ. Подводная лодка неизвестной «национальности» нагло разглядывала берег.

— Что делать? — запросили посты комендатуру.

— Огонь по нахалам! — приказал Кисурин.

По перископу ударили сразу из четырех трофейных крупнокалиберных пулеметов. Перископ скрылся… Наблюдатель клялся, что сам видел, как разлетелись стекла.

А вчера на безлюдный берег против бывшего склада оружия тихо вполз нос лодки. Черные тени метнулись к складу. На оклик часового из темноты с лодки ударил пулемет. Подоспевший парный дозор гранатами заставил его замолчать. Двоих автоматчики огнем отрезали от воды и прижали к скале… Кто они? Говорят по-японски не лучше Кисурина. И откуда у них такое оружие: немецкий автомат и американский кольт? Допросив нарушителей, Кисурин отправил их в штаб бригады. Там есть кому разобраться в том, где они родились, кто их хозяева и для чего их послали сюда…

Не дает покоя коменданту мысль: кто тот человек, который курит сигареты с золотой звездочкой? Может, это офицер, который хочет избежать плена? Но, может, он остался нарочно. Для чего?..

Снова солдаты обшарили туннели, доты, блиндажи. Но кроме окурков таких же сигарет да круглой пачки из-под них ничего не нашли.

Каждый день, перед тем как начать прием посетителей в

комендатуре, капитан Кисурин обходит селение из края в край. Здоровается с молодыми, говорит со стариками. Ко всему приглядывается. Все старается понять… Вот, например, почему у них такие дома?.. И тут земля под ногами коменданта тихонько дрогнула. Раз, два… Вот тебе и ответ.

Гордо взметнул свою голову вулкан Тятя, похожий на знаменитый Везувий. На его великаньем плече прикорнуло белое облачко. В кратере — круглое, как солнце, пятно нетающего снега. Вулкан спит. А кто скажет: когда проснется? Через год… через месяц… завтра… или никогда? Каждый день земля под ногами вздрагивает от мощных толчков. А у подножия вулкана легкие японские домики. Весь дом — тонкие деревянные стены да крыша. Окна, двери, перегородки между комнатами — это деревянные решетчатые каркасы, оклеенные бумагой. Раздвинь перегородки — и весь дом превратится в одну комнату. Ни стекол, ни мебели, кроме дзэн — низенького японского столика. Нет ни стульев, ни кроватей, ни шифоньеров, ни зеркал. Вся жизнь семьи проходит на татами — искусно сплетенных соломенных циновках, которыми устлан пол. Странно?.. Зато, когда ударит снизу мощный толчок землетрясения, в деревянном японском домике почти нечему ломаться. Бывает, он развалится на отдельные щиты, но ведь их можно вновь собрать. Налетит ураган с океана — тоже невелика беда. Заклеить недолго… Это понятно. А вот что за люди японцы? Это трудней. Нужно знать их годы, чтобы ответить. А коменданту надо знать сейчас: кто есть кто? Кто друг или будет другом? А кто враг?.. Может, тот учитель, что кланяется ему двадцать раз в день?.. Ох, уж эти поклоны! Пробовал отучить — не выходит. Традициям тысячи лет…

И все же комендант доволен. Жизнь в селе потихоньку налаживается. Регулярно выдают рис. По утрам выходят на лодках в бухту рыбаки. Заготовляют на зиму дрова. Сушат рыбу, морскую капусту.

Хотелось бы еще открыть школу для японских детей. Но учиться-то по старой программе нельзя. Там все было пропитано ненавистью к СССР… И еще: что делать с пустыми домами?

Невидимыми границами дома на берегу бухты как бы разделены на три отдельные группы. На южном крыле бухты живут более состоятельные. На северном, где и земли-то нет, один голый песок, жмутся к скалистому мысу маленькие домишки бедняков. Самый крайний из них — дом старика Такита. А посреди поселка стоят дома богачей. Просторные, под железной крышей. Даже два двухэтажных. Перед каждым домом цветничок. Позади — огород. Но дома-то пустые! Разве это

правильно?!

Созвал комендант хозяев и хозяек с северной окраины и предложил:

— Переселяйтесь в дома бежавших богачей.

Сразу не поняли.

— Откуда такие деньги взять?! — говорит старик Такита.

— Да не надо никаких денег! Даром берите. Чего ж они пустые стоят. Бумага на окнах и дверях порвана. Дождь внутрь хлещет. Пропадут дома без людей. И огороды травой зарастают.

— Дом — хорошо!.. Окна и двери открыты — плохо!.. Давай, Кисури-сан, бумагу — заклеим… Огород — хорошо. Зарастает — плохо!.. Мы будем обрабатывать, Кисури-сан. Овощи солдатам твоим нужны будут, — загалдели приглашенные.

— Опять, выходит, не поняли, — огорчился комендант. — Ну, тогда идемте на место, там посмотрим.

Пришли на место. Зацокали языками. Нравится.

— Смотри, Такита-сан. Вот твой дом будет. Двухэтажный. Вверху Фудзико и маленький Мицу. Внизу ты и Сандзо. Хорошо ведь будет!

— Хорошо, хорошо — соглашается старик.

— Осино хоросо, капитана товарис! — по-русски подтверждает Сандзо, успевший осмотреть все закоулки.

— И огород не маленький. Овощей вам на зиму хватит.

— Хорошо, — соглашается Такита-сан.

— Ну, раз хорошо, так и переселяйтесь сегодня. Я повозку пришлю…

— Зачем сегодня? Подождать надо. Большое дело — думать надо, — заволновался старик. — Огород мы будем обрабатывать. Цветы поливать. Бумагой заклеим. Все сделаем, как прикажешь, Кисури-сан…

Поговорил со всеми Кисурин. Никто сейчас переезжать не хочет. «Боятся, видно. Ну ничего, пусть пока на огороде повозятся. Потом осмелеют и переберутся», — решил он. А вслух сказал:

— Ну вот вам три дня сроку на размышление. Не переселитесь — другим отдам. Поняли?

— Поняли… поняли. Зачем другим?.. Мы будем окна клеить… Цветы поливать…

На другой день после разговора капитана Кисурина телефонограммой срочно вызвали на совещание в штаб бригады. Пришел катер, и капитан, дав указания своему заместителю, уехал.

* * *

Вот уже неделя, как семья Такита живет в своем доме. Хорошо. Но сегодня старому Асано Такита не спалось. И чего бы, спрашивается, не спать? После стольких дней жизни в шалаше, голода, почему не заснуть сытому человеку под одеялом в собственном доме. Но сон не шел. Старый рыбак сел, поджав под себя ноги, перед раскрытым окном, закурил трубку. Сидел и думал, думал, глядя в непроницаемую темноту безлунной ночи. Человеку приходится очень много думать, если он так стар и беден… Было у старика два сына. Сэйки и Таро. На всем острове не было более удачливых рыбаков. Хорошо жили. Но в 1936 году призвали Таро в императорскую армию и ровно через год, как раз в тёё-но сэкку[31], из далекого Тяньцзиня прислали урну с его прахом. Стоит урна с прахом Таро в домашнем алтаре. Лежит рядом гундзин-идзоку-кисё[32]. А сына нет… Шли годы. Притупилась боль. Но в прошлом году война опять постучалась в двери. Снова призвали в армию старшего сына, резервиста Сэйки Такита. Сэйки показывал военному начальнику справки о давних ранениях. Но его не послушали и послали снова в Маньчжурию… Жив ли Сэйки?.. Говорят, русские и китайцы в плен японских солдат не берут. Убивают на месте. А ведь Сэйки не просто солдат, он до чина сотё[33] дослужился… Вот и остались сиротами старый Асано и невестка Фудзико с двумя сыновьями, двенадцатилетним Сандзо и двухлетним Мицу. Как прокормиться? Как прожить, пока Сандзо станет мужчиной?.. А тут еще с этим переселением… Хорошо бы. Но страшно. Чужой дом…

Асано вздрогнул. В темноте за окном кто-то стоял и смотрел на него. Шли минуты, а из-за окна ни звука…

— Коннити ва, — тихо поздоровался старик, чтобы прервать тягостное молчание.

— Коннити ва, старый трепанг[34], — ответил приглушенный мужской голос.

— Заходите в дом, Кацумата-сан. Я зажгу лампу, — поднялся Асано.

— Тихо! Не называй меня по имени. В доме все спят?.. Хорошо, — он бесшумно, как кошка, прыгнул в окно. — Принеси мне рису!

Асано пошарил в темноте, принес тарелку с нигиримэси. Кацумата, чавкая, принялся с жадностью есть их. Опустошил тарелку и спросил:

— Еще есть?

Асано принес ящичек с вареным рисом, приготовленным

Фудзико на завтра. Ночной гость и его опустошил наполовину. Оставшееся завернул в носовой платок. Запил холодным чаем. Прикурил от трубки Асано сигарету и потребовал:

— Теперь расскажи все. Что делают русские в поселке?

Старик рассказал.

— Проклятые варвары! — выругался Кацумата. — Чужое добро раздавать! Хорошо сделали, что отказались переселяться. Знай, старик, и другим расскажи: хозяева на острове мы! Пусть все это помнят… Если мы не защитим, вас ждет ужасная судьба. Молодых женщин и девушек увезут в Сибирь. Стариков и детей сошлют на безлюдные северные острова. А хуже всех будет тем, у кого сыновья верно служили божественному Микадо[35]. На острове Этерофу русские повесили всех родителей солдат… Но им не долго зверствовать на нашей земле! Скоро пробьет час освобождения! — Кацумата шипел и плевался от ярости. Потом замолк и сказал прозаически: — Прикажи невестке сварить побольше рису. И завтра к восьми вечера принеси к источнику. Знаешь?.. Но смотри-и! Дом твой крайний… — Кацумата потыкал стволом пистолета в худую грудь старика. — Если кто проговорится… Понял?.. — Кацумата бросил окурок в поддувало печки и исчез за окном так же бесшумно, как и появился… Асано сидел по-прежнему в старом ватном халате, распахнутом на груди, и все еще чувствовал где-то около сердца холодную сталь пистолета.

* * *

— Мама, я хочу есть, — попросил утром Сандзо.

— Пока я приготовлю рыбу, съешь нигиримэси, — сказала мама.

— Нигири-мэ-си… нигири-мэ-си, — как эхо, повторил маленький Мицу, хлопая ладошками по татами.

Дедушка Асано вынул трубку изо рта и сказал:

— Нигиримэси я съел ночью.

— Вот хорошо! У вас появился аппетит, папа, — обрадовалась Фудзико. — Тогда я разогрею рис, что сварила вчера.

— Ри-су! Ри-су! — согласился покладистый Мицу.

Дедушка Асано снова вынул трубку и снова сказал:

— И рис я съел ночью…

Фудзико удивленно вскинула глаза. Ящик и правда был пуст. Но не мог же он сразу съесть и килограмм рису и все нигиримэси! Он ведь так мало ест… Но старик сунул трубку в рот и смотрел куда-то сквозь стену. Она поняла, что спрашивать нельзя.

— Хорошо, папа, — поклонилась ему Фудзико, — я сварю еще. — А сама подумала: «Странно. Куда он его дел?.. И ночью слышался сквозь сон какой-то чужой голос…»

Пока мама варит рис, Сандзо решил устроить смотр своим военным богатствам. Достал большой кожаный подсумок и высыпал все на татами. Стреляные гильзы и пули от автоматов и винтовок были в порядке. А вот самая главная вещь — огромная медная гильза от русского противотанкового ружья потускнела, покрылась зелеными пятнами окиси. «Почищу золой и опять будет блестеть!» — решил Сандзо. Сунул руку в поддувало, нагреб горстку золы. И вдруг вскрикнул удивленно: «Ара!» На ладони в золе белел окурок знакомой сигареты. И поясок… И золотая звездочка… Дождавшись, когда мама вышла, он спросил:

— Дедушка, у нас был Масано!..

— Замолчи, — потребовал старик и, подозвав к себе, шепнул на ухо: — Вечером ты выполнишь его распоряжение. Только никому ни слова. Иначе нас всех ждет смерть. Ты понял? Смерть…

Целый день Сандзо не находил себе места. Гордость распирала его: разве доверят такую тайну еще кому из мальчишек! И вместе с тем было немного страшно. Какое будет распоряжение капитана?.. Может, на подводной лодке поплывет в Токио с секретными бумагами… Или прикажет с пулеметом залезть на верхушку вулкана и оттуда стрелять и стрелять по врагам… Но тогда выходит, что надо убить и Кисури-сана, и сержанта Сидоро, и маленького солдата Колья… Нет. Их он убивать не будет. Только возьмет в плен. А потом посадит в лодку и даст им мешок рису. Пусть все русские знают, какой Сандзо великодушный… А может, будет совсем другое распоряжение?

Приказание Кацумата-сана оказалось совсем простым.

Когда стемнело, дедушка дал в руки Сандзо узелок с вареным рисом, сказал, куда отнести, и предупредил:

— Положишь и бегом назад. Не вздумай подглядывать…

* * *

Раньше, до прихода русских, жителям поселка было строго запрещено подниматься из долины в сопки. Это запретная зона. Ходили слухи, что там расположены минные поля. И часовые стреляли без предупреждения.

Но где находится источник, Сандзо знал, потому что не раз

по утрам с дедушкой Асано относил туда свежую рыбу для господ офицеров. Увидев рыбака, часовой подавал команду: «Стой!» И свистел. На сигнал из кустов выбегал ефрейтор. Он брал рыбу и, подражая капитану Кацумата, приказывал: «А теперь, старый трепанг, проваливай. Да побыстрей!».

Сандзо крался в темноте по тропинке. Вздрагивал от каждого шороха. Прислушивался. И снова шел. Тропинка, на которой он, кажется, знал каждый камень, теперь, ночью, стала совершенно неузнаваемой. В одном месте он чуть не свалился в яму. В другом — кувыркнулся через лежащее поперек бревно.

В начале пути он думал: «Я обязательно дождусь, когда господин капитан придет за рисом, и скажу: „Кацумата-сан! Дайте мне самое важное задание. Я выполню, даже если мне придется умереть за нашего божественного Микадо…“» Но чем выше он поднимался, тем меньше оставалось храбрости. К концу пути он весь дрожал. Положил узелок на бревно у самого источника и, забыв даже напиться вкусной воды с пузырьками газа, поспешил вниз.

Вдруг что-то острое вонзилось в ступню через тонкую соломенную подошву дзори. Сандзо ойкнул, сошел с тропинки и стал на ощупь вынимать колючку… Только хотел встать, как вблизи послышался шорох. Сандзо затаился. Мимо него вверх по тропинке прошел большой человек. Хоть и было темно, Сандзо готов был поклясться, что это не Кацумата-сан. Так кто же?!.. Может, он следит? Хочет убить капитана?..

Несколько секунд в душе у Сандзо боролись два чувства: страх и любопытство. Любопытство победило. Да ведь, кроме того, Сандзо может оказать услугу господину Кацумата. И тогда… Что будет тогда, он не успел додумать. Нужно спешить. Припадая на больную ногу, Сандзо вновь поднялся к источнику.

Узелка на месте не было… Вор! Он украл рис!.. Сверху чуть слышался удаляющийся шорох шагов. Чутко прислушиваясь, Сандзо двинулся следом. Шаги вдруг смолкли. Затаился и Сандзо. Потом зашелестели ветви. Человек впереди свернул между кустов. Сандзо сделал то же… Потом под ногами оказались широкие каменные уступы, как ступени. Легко ставя ноги в мягких дзори, Сандзо бесшумно крался за чуть видным сгустком темноты — это впереди шел вор.

И вдруг он заметил, что ночь стала совершенно непроглядной. Ни одной звездочки. А только что их было так много. Сандзо повел рукой в сторону и вздрогнул. Вместо кустов рука уперлась в холодную шершавую каменную стену. Он повел другой рукой — пустота. Сделал шаг, второй, третий… И другая

рука тоже натолкнулась на каменную стену. У Сандзо перехватило дыхание. Произошло самое ужасное — он в туннеле!..

Спроси у любого мальчишки на острове, и он тебе скажет: нет ничего хуже, как попасть в военный туннель… Что там происходит, не знает никто. Но оттуда, говорят, никто и никогда живым не возвращался.

Когда в прошлом году пропал Сиро, сын Издуи-сана, все знали: значит, он как-то попал в туннель. И хотя взрослые говорили, что Сиро, наверно, сорвался с утеса и его разорвали акулы, мальчишки не поверили.

Сандзо повернул назад, но снова уткнулся в стену. Пошел влево — опять холодная сырая стена. Мысли его заметались. Что делать? Как вырваться отсюда?.. И вдруг догадка осенила его: единственное спасение — идти за тем, кто впереди. Он ведь знает, куда идет. Но что же это? Шагов не слышно совсем…

Касаясь рукой стены, Сандзо быстро пошел, почти побежал. Он уже не знал куда: вперед или назад. Стена все время загибалась вправо. Потом повернула в противоположную сторону. Впереди будто посветлело. Он шагнул и сразу отпрянул назад. За поворотом туннеля стоял человек…

Сандзо немного оправился от испуга. Лег на влажный каменный пол и снова выглянул. Прямо на него смотрел Кацумата-сан. В красноватом свете фонаря «летучая мышь» лицо самурая, перечеркнутое шрамом, было ужасно. Из глаз, казалось, пышет пламя. В руке большой пистолет.

— Почему ты прячешься?! — грозно спросил Кацумата.

Сердце у Сандзо куда-то покатилось, покатилось… Тело стало ватным. Комок подкатил к горлу… Он должен был, он хотел, как подобает мужчине, встать и ответить. Но не было сил. Не было воли. Он лежал на каменном полу туннеля, раздавленный страхом, как тряпка…

А в следующую секунду он благословлял этот страх, это бессилие… Он понял, что спрашивают не его. Другой человек застыл перед капитаном по стойке «смирно». И хотя он стоял спиной, по его кривым ногам, издали похожим на большую букву «о», Сандзо понял, что это полицейский Нобухиро Ока.

— Так почему ты не пришел сразу? Почему вы с учителем не выполнили задания? — зловеще звучал голос Кацумата.

— Я не мог… я… я… я все выполню, господин капитан! — оправдывался Ока.

— Чтоб завтра же… одни угольки! Понимаешь?! Одни угольки… Если я к двадцати часам не увижу отсюда… советую тебе самому сделать себе харакири! Иначе…

Кацумата так усмехнулся, что у Сандзо залязгали зубы. Жирные плечи Нобухиро затряслись. Он согнулся и вдруг рухнул на колени.

Сандзо попятился и отполз подальше от страшного места… Когда, всхлипывая и тяжело шаркая ногами по камням, Ока прошел рядом, Сандзо поднялся и, не раздумывая, пошел за ним.

Только бы выйти отсюда, Разговаривать с Кацумата он уже не хотел. Если Ока так… то что же будет с ним! Только теперь Сандзо вспомнил, что говорил дедушка Асано: «Положишь и бегом назад. Не вздумай подглядывать…» А он… А вдруг Кацумата скажет: «За это, Сандзо, ты сам сделай себе харакири! Иначе…»

Нет! Сандзо не хочет харакири! Сандзо хочет жить!.. Цепляясь за стены, обдирая руки, он крался за полицейским, боясь одного: как бы не отстать…

Уже около полуночи, измученный, разбив в кровь ноги, Сандзо добрался домой. Дзори он потерял где-то в пути.

— Где ты был?! — бросилась к нему мама.

Но он только дрожал и не мог сказать ни слова.

— Напои его горячим чаем, Фудзико. И уложи в постель, — приказал невестке Асано. — Потом я сам поговорю с ним.

Фудзико покорно поклонилась и кинулась за чайником. А дедушка Асано шепнул:

— Молчи, внучек. Молчи!..

* * *

В девятнадцать часов сорок минут часовой у входа в комендатуру почувствовал запах дыма и поднял тревогу.

Оперативное отделение автоматчиков тотчас рассыпалось вокруг. Через три минуты стало ясно: горит в продуктовом складе. На глазах у солдат с треском разлетелись стекла в рамах, и пламя вырвалось наружу. Деревянное строение горело, как порох.

Жители ближайших домов выскочили в ночных халатах. Они бегом носили воду в больших деревянных ведрах. Помогали солдатам, чем могли. Но было уже поздно. Склад с запасами риса для жителей селения на глазах превращался в головешки. Горький запах сгоревшего риса заполнил все вокруг. Удалось вытащить только три обгоревших рогожных мешка.

Один из жителей подошел к спасенным мешкам с рисом. Принюхался. И, ожесточенно жестикулируя, позвал остальных. Заместитель коменданта, лейтенант, протиснулся сквозь толпу:

— В чем дело?

— Сэкию!.. Сэкию![36] — кричали люди.

Лейтенант нагнулся. Спасенные мешки пахли керосином.

Когда все побежали к складу с горящим рисом, из-за пилорамы появился человек. Он помедлил. Подождал, пока автоматчик, охранявший лесной склад, повернулся к нему спиной, и стал смотреть на пожар. Человек скользнул за штабель досок. Побыл там. Снова появился. Медленно пятясь, не спуская глаз со спины часового, дошел до ближайшего дома и скрылся за углом.

А через две-три минуты часовой у лесосклада, завернув за штабель готовых досок, вдруг увидел пламя. Он дал очередь в воздух и крикнул: «Пожа-а-ар!».

Второй пожар ликвидировали быстро. Баграми оттащили в сторону десятка два горящих досок. Закидали песком, залили водой.

Все пространство от селения до сопок прочесали автоматчики вызванной из гарнизона роты. Но было уже поздно. За углом ближайшего дома нашли только деревянную пробку, пахнущую керосином.

* * *

Сандзо так и не заснул в этот вечер. Когда время подходило к восьми, он тихонько встал и вышел из дому.

Он слышал удары в снарядную гильзу. Видел пламя и людей вокруг него. Понял: полицейский выполнил приказ Кацумата. Сандзо хотел бежать туда, на пожар, но почему-то не мог. Зашел за дом и прислонился к холодной стене… Вдруг он увидел тень, мелькнувшую за соседним домом. В это время на далеком пожарище рухнула крыша. Пламя взметнулось вверх. И на его фоне Сандзо увидел ноги человека, перебегающего к их дому. «Ока!» — чуть не вскрикнул он. Полицейский в тени за их домом рысцой бежал к океану. Сандзо помимо своей воли последовал за ним.

Ока добежал до воды у северного мыса. Сандзо остановился: подходить ближе было опасно. Напряг слух. Сначала слышалось хлюпанье воды. Потом и оно смолкло. Сколько Сандзо ни вглядывался, ничего не было видно. Полицейский Ока исчез.

Подходя к дому, Сандзо услышал голоса мамы и дедушки Асано, идущих с пожара. Он шмыгнул в окно и притворился

спящим.

— Кто же это мог сделать? — недоумевала мама.

Дедушка сел, раскурил трубку и сказал ни к кому не обращаясь:

— Тот, кто уничтожил рис, не пожалеет и наши головы…

Мама подождала: не скажет ли свекор еще что. Но он молчал.

— Вчера съел рис у Сандзо и Мицу, а сегодня отнял у всех! — возмущенно прошептала она.

— Не болтай, — оборвал ее старик. — Детям нужна живая мать.

— Но ведь правда: русские дали нам рис, а…

— Ты забываешь, Фудзико, что другие русские, может, уже убили твоего мужа…

— Не говорите так. Я помню о нем каждый день! — И мама заплакала.

— Я не хотел тебя обидеть…

Сандзо лежал и думал: «И правда. Кисури-сан и его солдаты дали нам рис. Но другие русские убили отца… Значит, они враги. Им надо мстить! Как Кацумата и Ока… Но дедушка сам говорил: „Не пожалеет наши головы“. Выходит, и Кацумата и Ока тоже враги. Наши враги… Но Кацумата и Кисури-сан тоже враги. Что же выходит!» Так и не решив этой сложной задачи, Сандзо уснул.

* * *

Кацумата покинул туннель через час после того, как ушел полицейский. К рассвету он уже был по ту сторону долины, на склоне вулкана. Вот и двухэтажное дерево… Теперь по карнизу над ущельем он поднимется на каменную ступень. Там, в замаскированном блиндаже, все его надежды. Там есть еда, радиостанция, прекрасный морской бинокль. Оттуда все селение видно, как на ладони. Пока русские будут метаться и вытряхивать душу из баб и стариков в поисках диверсантов, он спокойно отдохнет и подумает, что делать дальше…

Кацумата пробрался через заросли курильского бамбука к промоине. Прошел до начала карниза и… остолбенел: над самой пропастью белел высокий деревянный кол с табличкой. «Осторожно! Мины!» — по-русски и по-японски предупреждала надпись.

— Не может быть! Никто не знал, что там блиндаж! Это русские козни! — вскричал Кацумата. Хотел было отбросить с дороги кол. Но благоразумие победило гнев. Он осторожно

обошел кол с надписью и заглянул в ущелье. В трех шагах на карнизе лежал металлический ящик, и от него во все стороны отходили прополочные усики. Такой же ящик лежал на тропе дальше.

Кацумата выругался и без сил опустился на землю. Рухнули все надежды… Проклятые русские! Они даже не знают, что у него отняли! Пять лет назад был построен этот блиндаж. И никто из живых не знает о нем. Дюжина пленных-строителей жила тут, отдельно, от начала и до конца. Их кости давно растаскали вороны со дна ущелья…

Кацумата не верил конторам и банкам. Сегодня они процветают, а завтра лопнули, как мыльный пузырь. Весь капитал, сколоченный за пятнадцать лет службы, он хранил здесь, в этом блиндаже. И не какие-то обесцененные японские иены. А золото, настоящее золото! Кольца, браслеты, серьги, зубные коронки. И твердую валюту: пятьдесят тысяч американских долларов!

Кацумата неистово ругался, скрипел зубами. Темная сила гнева толкала его вперед. Вырвать, к черту, этот кол, загородивший дорогу. И добраться… дойти, доползти до денег, дающих такую силу, такую власть, какой не знает даже генерал… Он хватался за пистолет. Расстрелять эти проклятые мины!.. Но страх липкими лапами охватывал сердце: что толку? Услышат русские. Оцепят гору… И все равно, судя по размерам, это новые противотанковые мины. Если такая рванет — от тропы не останется и следа…

Через часа два он пошел назад. Наткнулся на стоянку русских. Вот банки из-под свиной тушенки и колбасы с английскими надписями. Рот заполнила слюна. Захотелось есть. Кацумата стал шарить вокруг. Ему посчастливилось. В траве нашел мешочек с галетами. Он разодрал марлю и стал кидать в рот маленькие галеты вперемешку с разноцветными леденцами. Крепкие, как у волка, зубы с хрустом размалывали их. Насытившись, он решил: «Дождусь тут ночи. Посмотрю, как эти русские свиньи запляшут в огне!.. А потом… потом я им такое устрою!..»

Масаносукэ Кацумата любовался далеким пожаром. Хорошо горит рис! Теперь русским нечем будет подкупать этих безмозглых простолюдинов… Ага! Вот начинается второй пожар — загорелись доски у лесопилки. Теперь пойдет!.. Не остановишь!.. Сейчас вспыхнет комендатура. Огонь перекинется на пристань, на жилые дома!.. Но что это?! Огонь стал угасать. Совсем исчез. Проклятие! Этому дураку Ока ничего нельзя поручить! Я отрублю его дурацкую голову!.. Нет, он так легко не

умрет!..

Кацумата в бессильной злобе катался по земле и рвал траву руками. Потом затих. Встал. И тотчас спрятался за куст. Внизу, у озера, на миг мелькнул огонек. Другой… Облава!.. Кацумата заметался между деревьями. Куда спрятаться?! Кинулся к старому дубу. Кошкой вскарабкался вверх и затаился.

* * *

Получив извещение о событиях в Акапу, Кисурин срочно выехал назад. Когда катер еще подходил к пристани, капитан окинул взглядом селение, и что-то неприятно поразило его. Всю дорогу до комендатуры и после доклада заместителя он думал: «Что изменилось?»

— А где Сандзо и его «лекалери»?

— Да вот как вы уехали, товарищ капитан, так и исчез малец. Мы уж тут с ног сбились без его команды.

Капитан вышел на крыльцо. Огляделся. И вдруг все понял. Необычная тишина стояла вокруг. Не видно играющих детей. В бухте нет ни одной лодки. Не слышно стука топоров и песен. Да вообще поселок будто вымер.

* * *

А от дома к дому ползли слухи: «Приедет комендант с русскими жандармами и будет вести следствие. Кто поджег… У них разговор короткий. Чуть что — и расстрел!.. Из каждой семьи заложников возьмут…»

* * *

Коменданта встречали подчеркнуто любезно. Улыбались, кланялись. Без конца улыбались и еще больше кланялись… Но от серьезного разговора ускользали.

— Почему не ловите рыбу, Исимото-сан?

— Как ловить?.. Сети старые. Где взять? Лавочник уехал…

В другом доме спрашивает:

— Вы же дрова еще не заготовили. Я видел: в сарае пусто. Может, лошадь нужна? Я распоряжусь.

— Аригато, господин комендант. Зачем деревья рубить? На берегу плавник насобираем. Ничьи дрова. Океан подарил…

Из края в край прошел капитан весь поселок. И кое-что понял. Зашел к старому Такита. Вскочил Сандзо. Улыбнулся. Потом нахмурился. Поклонился вежливо. Теребит руками рубашку. Глаза отвел.

— Ты, Сандзо, за что-то на меня обиделся? Но я не виноват. Ты скоро поймешь. А сейчас приказываю: собирай свою «лекалери» и зови всех на собрание. С тобой Коля Круглов пойдет. Марш!

Подхватился Сандзо, выскочил из дому.

Старик сидит, курит. Кисурин тоже курит. Фудзико вышла из комнаты, оставила мужчин одних. Комендант не торопит. Старики не любят поспешности. Наконец Кисурин спросил:

— Скажите честно, Такита-сан, почему вы не хотите переселиться в хороший дом? Боитесь, что хозяева вернутся?..

— Боюсь, — помедлив, ответил старик. — За детей боюсь. Им жить надо.

— Спасибо, Такита-сан. Так вот я и скажу всем на собрании, чтоб не боялись. Другой власти на острове не будет!.. А поджигателям скоро конец. Они ведь и ваши враги, правда?..

* * *

— Колья! — спросил Сандзо Круглова, когда они, известив всех жителей о собрании, присели отдохнуть на краю перевернутой лодки. — Колья! Игиде дома твоя?

— Дом мой далеко, Сандзо. На другом конце Курильской цепи. Камчатку знаешь?

— Камутякка?! — вытаращил глаза Сандзо. — Пирожок!..

— При чем тут пирожок? — не понял Коля. — Хорошее место. Для меня самое лучшее на земле. Родился я там, понимаешь! Умарэру[37]. Вакару?

— Вакару! Вакару! — смущенно ответил Сандзо.

Рядом с ним сидел человек с той самой Камчатки, которую призывал отнять у русских учитель.

— Там у меня папа, мама, дедушка… — Коля замялся немного, — там у меня жена Зина и сын Сашка… Когда уезжал, он совсем маленький был. Три года не видел. — Он спохватился: — А-а-а, что ты, пацан, понимаешь в этом?..

— Вакару, вакару. Колья! — вскочил Сандзо. — Уся понира!.. Зи-на — мусумэ[38] ести!.. Сандзо — дандзи[39] ести, мусуко[40] твоя ести! — мешая русские и японские слова, кричал он.

— Ишь ты! Правда, понял. Так вот. Рыбак я. И отец рыбак. И дед был рыбак…

Ушел домой Сандзо совсем расстроенный. Как все сложно во взрослом мире!.. Учитель сказал: отнять пирожок. А вот там, оказывается, живет Колья, мусумэ Зина и маленький Сандзо…

* * *

Большое событие у старого Такита. Сын его, бывший фельдфебель императорской японской армии Сэйки Такита, прислал письмо из русского плена.

Целый день к дому старого рыбака шли люди. Одни просили Сандзо прочитать письмо отца. Другие сами брали в руки листок белой рисовой бумаги, испещренный мелкими иероглифами, чтобы убедиться своими глазами.

Невероятно!.. Ни одного пленного русские не убили. Мало того, их кормят в лагере, как в армии. Не бьют и не оскорбляют… Раненых солдат поместили в хорошие госпитали и лечат так же, как своих. В лагере баня и парикмахерские… Чистое белье. В клубе показывают кинокартины. Радио. Воскресный отдых… Невероятно! Да разве это плен?..

Старики помнят, как обращались на острове с пленными корейцами и китайцами, которые строили туннели… Видели с лодок, как по утрам сбрасывали в океан со скалы трупы умерших от побоев и голода людей… Да их никто и не считал-то за людей…

Расходились односельчане от дома Такита кучками и по-одному. Притихшие и задумчивые. «Аматерасу омиками[41], помоги! Если мой сын жив, пусть он окажется в русском плену», — шептали стариковские губы.

Теперь в голове Сандзо все стало на свои места. Если уж отец сказал, что русские хорошие, значит, хорошие! А кто плохой?.. Полицейский Нобухиро Ока! Вот кто… И еще капитан Кацумата… но Кацумата не жег рис. А Ока сжег… Отец пишет, что надо помогать русским строить хорошую жизнь. А Сандзо помогает. Его «лекалери» все время дежурит у комендатуры… Но этого, наверно, мало! Чем бы еще помочь!.. Ага! Вот. Сандзо сам выследит полицейского. И тогда скажет Кисури-сану: «Вот кто поджег рис!» Полицейский плохой человек. Он тогда, на вулкане, даже хотел дедушку арестовать… Сандзо знает, откуда начинать поиски.

* * *

В Акапу все спокойно. Люди работают. Ходят не таясь. Повеселели. Частенько заглядывают в комендатуру и справляются: нет ли еще писем из русского плена!

За несколько дней только одно происшествие — исчез японский учитель. Никто толком так и не знает когда. В доме у него все перевернуто. А у пристани недосчитались одной лодки.

Но тишина не может обмануть Кисурина. Он знает: где-то на острове затаился враг. Коварный. Опытный. Кисурин уже почти наверняка знает, кто это. Он сам проверил в штабе списки офицеров японского гарнизона. Пропавшими без вести оказались только подпоручик ветеринарной службы Кикундзи Асихара и капитан Масаносукэ Кацумата, заместитель командира батальона.

Но насколько стало известно из характеристик, данных другими офицерами части, Асихара был человеком гражданского склада: добрым, отзывчивым, слабовольным, влюбленным в лошадей. За это другие офицеры часто посмеивались над ним. Ясно, что тот, кто затаился, не слабовольный ветеринар. Значит, Кацумата!.. Или на острове появился еще кто-то?.. Конечно, этот Кацумата, или как его там зовут, знает на острове все тайники. Он ведь сам был начальником строительства… Тут бы пограничников с собакой! Тогда бы нашли быстро. Капитан говорил об этом с полковником Дементьевым. «Где же я тебе возьму, дорогой», — развел руками Дементьев.

Беспокоил коменданта и склад трофейных боеприпасов, расположенный на северном склоне Двугорбой сопки. Склад обнесен двумя рядами колючей проволоки. Круглосуточно охраняется. Кисурин распорядился выставлять на ночь еще парные секреты. И все-таки беспокоился. Ведь в этом длинном приземистом здании лежит 400 тонн взрывчатых веществ и боеприпасов. Снаряды и мины, ящики тола и авиабомбы, гранаты и патроны. Если по недосмотру или из-за небрежности охраны все это ахнет!.. Достанется северной окраине села, школе, а может, и комендатуре.

Поэтому комендант вновь и вновь предлагал рыбакам с северной окраины переселиться в брошенные дома богачей. Но они все медлили, откладывали новоселье со дня на день.

Капитан просил штаб бригады взять у него эти боеприпасы. Начальник боепитания обещал в конце сентября прислать за ними суда.

* * *

Сандзо следил за Ока. Его убежище он обнаружил на следующий же день после поджога. Если войти в воду океана, прижимаясь к скале, то под ногами окажется узкий выступ. Вода тут не доходит и до пояса. Но не вздумай шагнуть в сторону — скала отвесно уходит на пятнадцатиметровую глубину. А вблизи Сандзо видел, как прочертил океанскую гладь острый плавник акулы… Через десять-пятнадцать шагов выступ под ногами начинает подниматься, высовывается из воды и обрывается. Но теперь он и не нужен. Раздвинь куст на обрыве — и ты попадешь в начало скрытого хода. Деревянная крутая лестница, уложенная на пол наклонной шахты, пробитой в скале, выведет тебя в скрытый блиндаж на пологом скате сопки уже за запретной зоной. Оттуда ходом сообщения, с кое-где обвалившимся перекрытием, можно спуститься еще ниже, во второй блиндаж. Здесь в узкую амбразуру хорошо видно на склоне соседней сопки длинное деревянное здание, окруженное колючей проволокой. За проволокой вокруг здания ходят два русских часовых с автоматами.

Хорошо, что тогда, в первый раз, у Сандзо оказался подаренный Кисури-саном электрический фонарик. А то бы он не добрался до конца шахты. Чуть оступись — и полетишь вниз, пока не переломаешь себе все кости… Тогда Сандзо дошел только до первого блиндажа. Там, где перекрытия хода сообщения обрушились, он дважды увидел согнутую спину полицейского, спускающегося вниз. Ока добрался до второго блиндажа и пробыл там, наверно, целый час. У Сандзо даже глаза заболели от напряжения. Он боялся пропустить момент, когда Ока будет возвращаться. И все-таки пропустил. Очнулся только тогда, когда совсем рядом услышал тяжелое сопение полицейского…

Через два дня, играя с мальчишками около школы, Сандзо увидел вдруг, как в окне дома учителя чуть приподнялась тростниковая штора и на миг мелькнуло лицо Нобухиро Ока. «Значит, учитель тоже с ними!» — подумал ошеломленный Сандзо. В это время его противник, воспользовавшись оплошностью, нанес Сандзо укол деревянным мечом в грудь и закричал: «Кати! Бандза-а-ай»[42] Сандзо, к удивлению товарищей, не стал спорить, а, признав себя побежденным, побежал домой… В тот раз Сандзо, воспользовавшись отсутствием Ока, добрался до второго блиндажа.

Но это было давно. Теперь Сандзо знает, что Ока только прячется днем в этом блиндаже от русских. А по ночам уже две недели подряд откапывает завалившийся ход, который начинается недалеко от туннеля в Двугорбой сопке. Пересилив страх, Сандзо снова ночью ходил по тропинке выше источника.

Слышал, как Ока лопатой копает землю и ругается. Сандзо хотел уже рассказать Кисури-сану об этом, но передумал. Надо еще узнать, зачем Ока копает землю? Может, он там спрятал золото?..

Сегодня Сандзо пошел к источнику еще засветло. Прислушался. Тихо. Может, Ока уже откопал свое золото и удрал?.. Сандзо раздвинул густые кусты, между которыми начинался ход, и осторожно стал спускаться по размытым земляным ступеням. Ого! Полицейский хорошо поработал. Там, где раньше ход преграждала обвалившаяся земля, темнело квадратное отверстие. Сандзо свободно пролез в него. Ход поворачивал вправо и вел вниз. Стало совсем темно. Он включил фонарик. Низкий потолок и стены обложены досками и подперты скользкими, покрытыми плесенью столбами.

Сандзо спешил. Скорей. Скорей, пока еще светло и Ока не может прийти сюда. Но ход никак не кончался, уводил все ниже и ниже.

И вдруг откуда-то пахнуло свежим воздухом. Ход сделал еще один поворот. Сандзо споткнулся и чуть не упал. Под ногами оказалась куча обвалившейся земли и камней. Над головой он увидел свисающие корни *к* почувствовал струю свежего воздуха. Сандзо потянул за корень и не успел отскочить, как на голову, на плечи посыпались земля и щебень. Отряхнувшись, он глянул наверх и в переплетении стеблей травы увидел свет. Ему так захотелось хоть на секунду выглянуть наружу, хлебнуть настоящего чистого воздуха. Пошарил вокруг. Рука натолкнулась на острое ребро ящика. Сандзо взобрался на ящик, и голова его вдруг очутилась в середине куста шиповника. Колючка больно царапнула щеку. Под самым носом висели крупные красные плоды. А над головой — вечернее темнеющее небо. Он осторожно отодвинул ветку рукой и оглянулся. Что такое?! В пяти шагах виднелись столбы с колючей проволокой. А еще дальше — длинная деревянная стена…

Где он видел эту проволоку?.. Где видел?..

И тут вдруг раздался громкий оклик русского:

— Стой! Кто идет?

— Разводящий со сменой! — отозвался другой голос.

Вот оно что! Это тот самый сарай, который охраняют русские часовые, а полицейский Ока подглядывает за ними из своего блиндажа… А может, он уже украл что-нибудь? Что в этих ящиках?

Сандзо проворно соскочил на землю и осветил их. Деревянные. Попробовал поднять. Тяжелые. Наверно, золото!.. Он принялся отдирать крышку. Не поддается. Сандзо стал

перочинным ножом отковыривать кусочки дерева около шляпки гвоздя… Наконец дощечка подалась. В ящике плотно, один к одному, лежали брусочки, обернутые вощеной бумагой. Развернул. У-у-у!.. И совсем это не золото. А что-то похожее на мыло. Только для чего-то в боку дырка сделана. Сандзо разочарованно опустил было брусочек снова в ящик, но передумал. А может, это тоже что-нибудь дорогое. Надо отнести и показать Кисури-саму. Пусть увидит, что у них украл полицейский Ока.

* * *

За час до захода солнца, в 17 часов 10 минут, в комендатуру позвонил сержант Сидоров:

— Товарищ капитан! ЧП! В заброшенном блиндаже, в районе роты Чепурнова, обнаружены кусок сгоревшего бикфордова шнура и окурок… Понимаете, тот окурок… самурайский.

— Понимаю. Когда ты узнал?

— Две минуты назад.

— А когда обнаружено?

— Говорят, часов в двенадцать.

— Так какого же черта! — взорвался Кисурин. — Почему Чепурнов не доложил немедленно?!

— Вот это я ему и сказал…

— Все, Миша! — оборвал его Кисурин. — Понимаешь, что готовится?.. Кацумата пробует шнур, чтобы не было осечки. От моего имени подними по тревоге подразделения, близкие к складу. Перекрыть все дороги, туннели со стороны гарнизона. Выставить секреты по схеме номер три. Причин тревоги никому не объяснять. Я с берега сделаю то же. Действуй!

Капитан Кисурин не пошел в гарнизон. Захватив с собой разводящего, он проверил всю территорию склада трофейных боеприпасов. Потрогал колючую проволоку. Обошел вокруг ограждения. Его внимание привлек куст шиповника с громадными красными плодами.

— А этот почему здесь торчит? — спросил он у разводящего.

— Так он же за территорией, товарищ капитан. Такой красавец. Плоды, как яблоки. Витамин С!

— Красавец-то красавец. А обзор ухудшает. Завтра же срубить. Под корень.

— Слушаюсь, товарищ капитан.

Не обнаружив ничего подозрительного, капитан приказал выставить дополнительные посты в окопчиках ниже склада.

Уходя, он несколько раз оборачивался. Все казалось, что чего-то недосмотрел. «Но не по воздуху же они доберутся? Секреты обнаружат диверсантов за двести метров…»

Темнело. Последняя сентябрьская ночь 1945 года раскрывала над островом свой черный зонт с золотыми блестками далеких звезд.

* * *

Сандзо не сумел добраться до комендатуры. У большой сосны, недалеко от школы, его остановил оклик из темноты:

— Стой! Кто идет?

— Сандзо! Кисури-сан ходит!

— Стой, говорят!

— Бистиро надо! Кисури-сан надо! Я Сандзо! Вакару? — удивленно растолковывал Сандзо, вглядываясь в знакомое лицо автоматчика. Но тот будто и не видел его ни разу.

— Сиди тут со мной смирно и молчи. Понимаешь! Ки-о цукэ!

После команды «смирно» Сандзо притих. Посидел пять минут и снова стал шептать автоматчику:

— Кисури-сам ходит! Бистиро надо!

— Молчи. Стрелять буду! Понял?

Сандзо понял и замолк. Так и сидели они. Может, час, а может, и больше… Когда автоматчик на миг отвернулся, Сандзо распрямился, как пружина, головой нырнул в куст и покатился по склону. Автоматчик выстрелил в воздух и побежал за ним.

Ниже по склону резанула воздух автоматная очередь.

— Отделение, в цепь! — тихо скомандовал Круглов.

Разомкнувшись, автоматчики спускались по склону сопки. Перед Кисуриным мелькнула тень.

— Стой!

— Это я, товарищ капитан! Жуков.

— Ты стрелял?

— Я. Мальчишка убежал. Сандзо.

— Где же он?

— Тута, Кисури-сан! — раздалось откуда-то снизу и тотчас показался силуэт Сандзо. Дальше у него не хватило русских слов и он зачастил по-японски: — Смотри, господин капитан! Это украл у русских полицейский Нобухиро Ока. Много украл. Два ящика. Я покажу, где он спрятал!

Кисурин ощупал руками то, что в темноте совал ему Сандзо, и похолодел. Толовая шашка! Вот и отверстие для детонатора. Он присел. Укрылся плащ-палаткой и засветил фонарик. Точно! На

его ладони лежала двухсотграммовая шашка тринитротолуола.

— Круглов! Ракету! — приказал капитан.

Над сопками взлетели два ярких шарика: красный и зеленый.

* * *

Едва красно-зеленая ракета взлетела в ночное небо, поселок разбудил гром выстрелов. Трещали автоматы. Рвались гранаты. Поднимали сонных, перепуганных, ничего не понимающих людей, живущих на северной окраине поселка, и приказывав:

— К пристани! Бегом!

С теми, кто медлил или упирался, они не церемонились. Под руки вытаскивали из домов, пригрозив автоматами, повторяли:

— Бегом, дорогой! Понимаешь! Бегом!

И люди бежали, шли, кто как мог. Полураздетые. Увязали деревянными гэта в песке, спотыкались, падали. Кричали на отставших детей.

У пристани новый отряд автоматчиков провожал их дальше, в распадок между двух склонов Двугорбой сопки.

* * *

— Скорей! Где ты взял, Сандзо?!

— Идем, Кисури-сан! Покажу. Это под землей лежит. Много украл Ока.

Теперь автоматчики цепью поднимались вверх, напрямик к источнику. Капитан, Сандзо и Круглов бежали по тропинке.

— Сюда, Кисури-сан! — крикнул Сандзо. — Здесь Ока копал…

И тут в темноте за кустами блеснули красноватые язычки пламени. Чуть не в упор хлестнула длинная пулеметная очередь.

— Сан-дзо-о-о! Ложись! Ползи вниз! — крикнул капитан. — Автоматчики! Заходи с флангов!..

Коротко и зло застучали автоматы, дугой охватывая пулемет. Пулемет поперхнулся… Снова застучал. Ухнул взрыв гранаты. Автоматчики молча бросились вперед.

Кисурин первым прыгнул в яму среди кустов. Включил фонарь. На глиняных ступеньках, залитых кровью, головой вниз лежал толстый кривоногий человек в черном полицейском мундире. Вокруг стреляные гильзы… Но Кисурин искал не это. Вот!.. Черная сгоревшая нитка бикфордова шнура уходила в темноту. Капитан бросился по ходу: «Может, успею потушить?..»

Но через несколько шагов путь преградила рухнувшая кровля, из-под которой выбили подпорки. Еще теплая нитка шнура змейкой юркнула под завал. Поздно!!! Огонь не остановить. Вот-вот грянет взрыв… Но где же пулемет?

— К туннелю! — приказал капитан.

От входа в туннель снова засверкали колючие злые язычки пламени.

— Отделение, по пулемету огонь!

Разом затрещали автоматы. Пулемет смолк. Автоматчики кинули в черную пасть туннеля две гранаты. Грохнули взрывы. И бойцы бросились вперед.

* * *

Едва автоматчики успели оттеснить людей под прикрытие крутого каменного лба сопки, как под ногами дрогнула земля. Небо осветила багровая вспышка, и ужасный, никогда не слыханный грохот всколыхнул воздух, швырнул людей на землю.

Из ущелья между сопками дохнул огненный ураган. Как спички, сломал двадцатиметровые деревья, телеграфные столбы, смел деревянные постройки у пристани, слизнул песок, перемешал все и швырнул далеко в бухту.

Отвесная тридцатиметровая скала у дота № 16 дрогнула, будто кто гигантским топором стукнул ее по макушке. От нее отделился пласт и, распадаясь в воздухе на огромные глыбы, рухнул на крайние дома поселка…

Люди лежали на земле. Оглушенные, перепуганные, но живые.

* * *

Страшная сила встряхнула сопку. Воздух, ставший тяжелым, как свинец, пронесся по туннелю, ударил в грудь, будто оловянных солдатиков расшвырял солдат. Сверху, со стен, отовсюду летели камни, доски, столбы. Потом настала тишина…

— Раненые есть? — первым подал голос Кисурин.

— Ерунда, товарищ капитан, — сказал кто-то, — царапины.

— Тогда осторожно вперед. Гранат не бросать.

Обходя упавшие глыбы, перебираясь через завалы, автоматчики ползли вперед. В тишине звякнул металл, кто-то задел автоматом за камень. И тотчас из темноты хлопнул пистолетный выстрел. Еще. Еще. Ему ответили короткие очереди

автоматов.

— Сдавайся, Кацумата! — крикнул Кисурин.

— Порусяй, капитана! — по-русски выкрикнул Кацумата и выстрелил пять раз подряд.

Пули процокали по каменной глыбе, за которой лежал капитан. Кацумата стрелял на голос. Кисурин считал выстрелы. Восемь!.. Обойма вся. Неужели есть запасная?..

— Не стрелять! Взять живым! — тихо приказал капитан и, выставив руку из-за камня, мигнул фонарем… Выстрела не последовало.

* * *

Кацумата пошарил в кармане. Проклятие! Запасной обоймы не было. Он швырнул в темноту, туда, где затаились русские, ненужный уже пистолет. Деваться некуда! Путь отрезал высокий, до потолка, завал. Конец, понял Кацумата. Сейчас его схватят русские… Ох, как он их ненавидит! За все!.. Но есть еще выход. Осталась еще граната. Он умрет, как настоящий самурай!.. Он хотел последний раз в жизни гордо крикнуть «бандзай». Набрал полную грудь воздуха… Но из горла вырвался дикий звериный вопль, полный тоски и ужаса. Он рванул веревочку взрывателя и прижал гранату к виску…

Грохнул взрыв. И бывшего начальника лагеря военнопленных, кавалера трех орденов «Восходящего Солнца», самурая Масаносукэ Кацумата не стало.

* * *

Сандзо и ефрейтора Колю Круглова нашли в кустах чуть выше источника. Обоих прошила в грудь длинная пулеметная очередь…

Когда их перенесли в комендатуру, капитан, только что вернувшийся с места взрыва, спросил фельдшера:

— Будут жить?

— Очень много крови потеряли. Я сделал все, что мог… Теперь вся надежда на организм.

— Глупости! — закричал капитан. — Врача нужно. Операцию. Дать им крови… Кругом столько людей. Неужели ничего не можешь?!.

Фельдшер растерянно развел руками и отвернулся. Коля Круглов был его лучшим другом.

Капитан вызвал по телефону командира взвода связи:

— Лейтенант! Связь со штабом армии держишь?

— Так точно, товарищ капитан. По рации. В исключительных случаях.

— Вот сейчас и есть исключительный! — перебил его капитан. — Приказываю передать радиограмму. Записывай! «Члену Военного совета армии генералу Новикову… При попытке предотвратить вражескую диверсию тяжело ранены разведчик Круглов и японский мальчик. Положение критическое. Большая потеря крови. Нужен опытный хирург. Капитан Кисурин».

Через полчаса лейтенант положил перед капитаном бланк: «Кисурину. Гидросамолет с хирургом выслал. Встречайте. Новиков».

* * *

Сандзо бредил. Метался. Что-то кричал. Фудзико, сидевшая рядом с сыном, позвала капитана:

— Он что-то говорит по-русски. Вас зовет.

Капитан подошел, прислушался, Сандзо выкрикивал что-то по-русски и по-японски: «Най[43] хотцю пирадзок!.. Кацумата тайи… Най! Най!.. Не хотцю харакири!.. Доробо суру[44] не надзо!.. Не хотцю Камутякка!.. Колья!.. Колья!..»

А Коля Круглов лежал почти рядом, но ничего не слышал. Лежал тихо. Не стонал. Только при дыхании из уголка рта выползала тоненькая красная струйка. Фельдшер вытирал ее марлевым тампоном, а она выползала коварной красной змейкой снова и снова.

* * *

Светало. Где-то невидный в небе гудел самолет. Гул приближался и опять затихал. Люди у комендатуры волновались. Красные хвосты ракет взлетали к низкому небу и бесследно исчезали в облаках. Наконец гидросамолет пробил облака, заскользил по тихой воде бухты и остановился, качая крыльями у наспех починенной пристани.

Операционную устроили во второй комнате комендатуры. Хирургу помогали врач, прилетевший с ним, и фельдшер…

Через час капитан Кисурин лежал на столе рядом с Сандзо. Повернув голову, он видел, как постепенно розовеет бледное желто-восковое лицо мальчишки.

— Берите еще, товарищ полковник. Берите, сколько надо, — просил он хирурга.

— Хватит, дорогой, хватит, — гудел бас хирурга. — А то его подниму, а ты с ног свалишься.

На немой вопрос капитана полковник ответил:

— Не волнуйся. Будут жить. Оба.

* * *

После переливания крови у Кисурина закружилась голова. Навалилась ужасная слабость. Но, несмотря на категорический приказ хирурга лежать, капитан тихонько встал и шмыгнул в двери. И как раз вовремя. В бухту входил большой катер из штаба бригады. На носу катера выделялась громоздкая фигура полковника Дементьева в кожаном реглане. А за ним виднелись зеленые фуражки пограничников.

День коменданта только начинался.

* * *

Сандзо очнулся в полдень. Темными раскосыми, еще покрытыми поволокой беспамятства глазами он скользнул по лицам близких и чуточку улыбнулся. Фудзико от радости бросилась перед кроватью сына на колени и прижалась лицом к его руке. У старого Такита, за ночь постаревшего еще будто на десять лет, дернулась щека и из глаз выкатились две слезинки, Когда Сандзо прикрыл глаза и задремал, старик вынул изо рта давно потухшую трубку и задумчиво сказал:

— Теперь у Сандзо два отца… Мой сын Сэйки дал ему жизнь. Ты, Кисури-сан, дал ему кровь… Удивительные вы люди, русские… Сумимасен[45], Кисури-сан… Сумимасен.

А. Корольченко
Там, где солнце в зените

ПРОБКОВЫЙ ШЛЕМ

В автомобиле нас двое: я и Али. Али — мой неизменный спутник во всех поездках. Он учился в Советском Союзе, получил диплом механика и теперь совмещает две… нет, три специальности: механика, водителя и переводчика. По-русски изъясняется довольно сносно.

Ему тридцать лет. Он среднего роста, худощав и подвижен. Тонкий прямой нос, губы пухловаты. Волосы короткие, жесткие, в завитушках. Красивый выпуклый лоб с небольшим шрамом над бровью. На шоколадном лице выделяется желтоватый белок глаз.

Али улыбчив и приветлив. Когда мы едем по городу, его то и дело окликают. И он неизменно отвечает доброй улыбкой. И даже в дальних поездках встречаются знакомые. Если из любопытства я спрашиваю, кто это, он охотно объясняет. Он обо всех все знает и,

кажется, все знают его.

Али любит в дороге говорить, и когда речь заходит о знакомых ему вещах, говорит подолгу и упоенно. Сейчас, словно гид, он ведет рассказ о ближайшем на нашем пути местечке. На итальянских картах оно именуется длинно и пышно: Вилладжие-Дука-дельи-Абруцци. Сомалийцы же называют его просто: Джохар.

— В Джохаре очень красиво… Много бананов, тростник, пальмы, папай, кокос… река Веби-Шебели, там бегемоты… Много обезьян, леопардов. Ты не был в Джохаре? Нет? Тогда нужно его смотреть. Мы будем смотреть Джохар.

Из рассказа Али я узнаю, что основателем местечка был итальянский адмирал, происходивший не то из графского, не то из княжеского рода. После долгой службы он прибыл сюда, в этот благоуханный уголок Сомали, и в 1922 году обосновал колонию. Он назвал поселение в честь итальянской провинции, где родился и вырос…

Неожиданно Али затормозил.

— Авове Мохамед! — выскочив из автомобиля, он подбежал к шедшему по обочине старику. Старик, начищавший палочкой зубы, от неожиданности вздрогнул. Выронив палочку, поднял руки.

Они оживленно заговорили, улыбаясь. Я вслушивался, но понял только одно слово — авове, что по-сомалийски означало — дедушка.

Старик был худ и высок. Его одеяние состояло из маро — наброшенного на плечи куска белой ткани — и такой же юбки. На ногах стоптанные грубые сандалии из кожи верблюда. Седые курчавые волосы, небольшая бородка.

— Это мой дедушка. Понимаешь?

Старик, улыбаясь, поспешно и не очень ловко подал мне мозолистую руку. Она слегка вздрагивала. Старик с трудом залез в автомобиль и затих.

— Дедушка приходил в город, но Али уезжал и потому он его не видел. Теперь Али встретил дедушку. Дедушка идет в боскалию, домой, в саванну. Понимаешь?

— А где его дом?

— Далеко! За Джохар.

— Так это же больше ста километров! И он собирался идти пешком!

— О-о, дедушка любит ходить! Он умеет много ходить.

— Сколько же ему лет?

— Лет! Много! Минимум — шестьдесят, максимум — восемьдесят.

Слово «максимум», как и «минимум», Али употреблял часто. Они ему нравятся. Даже о цене вещи в магазине он говорит: «Купить можно по-разному: максимум — десять шилини, минимум — семь…»

Старик смотрел то на Али, то на меня. Встречаясь взглядом, он приветливо кивал головой и улыбался. Лицо и шея старика в густых морщинах. И видно, что прожил он большую и нелегкую жизнь.

Вскоре мы подъехали к местечку. При въезде старик вдруг встрепенулся, решительно заговорил, потом стал дергать за ручку дверцы. Не прощаясь, опираясь на свою суковатую палку, решительно зашагал от автомобиля.

— Мы едем плантация, — объявил Али. — Будем смотреть тростник… Дедушка Мохамед не хочет ехать плантация… Он нас будет ждать.

По мосту переехали мутную реку Веби-Шебели, миновали базарную площадь со множеством лавчонок, навесов и толпами людей. Дальше дорога вывела на пыльный проселок вдоль узкоколейки. Навстречу катился поезд с груженными тростником платформами. Я поинтересовался, куда везут тростник.

— На завод, — отвечал Али. — Завод построил еще итальянский князь. Там сахар делают.

На платформах, поверх тростника, сидели рабочие С плантации. Босоногие мальчишки озорно выдергивали на ходу стебли тростника. Тут же их разламывали, со смаком выгрызали сердцевину.

Тростник рос стеной. Высокие, почти двухметровые стебли с узкими длинными листьями таинственно шелестели. В воздухе стоял запах гари. Сизый дым стлался над болотом и, словно живой, курился в зарослях тростника.

— Смотри! — предупредил Али, указывая под ноги. — Здесь есть… Как это?.. Маска… Понимаешь?

— Змея?

— Да-да, змеи.

Я всмотрелся и в болотной жиже увидел головку змеи. Она скользила, извиваясь своим длинным телом.

— Как же работают здесь люди?

— Они вначале тростник жгут. Листья обгорают, остаются стебли. Огонь выгоняет змей, кабанов, зверей разных.

Словно прибой моря, шелестел тростник. И под ветром клонились высокие стебли, и бежали, бежали по поверхности зарослей волны…

Поселение итальянцев расположилось вдоль асфальтированной дороги. В тени пальм стояли виллы. Вокруг

цветы, зелень… И десятки обезьян.

— Поедем смотреть баобаб, — предложил Али.

Дерево огромно. Ствол в диаметре метра четыре. Под раскидистой кроной свободно разместились бы полсотни автомобилей. Впоследствии мне довелось видеть базар, уместившийся со всеми своими лавками и торговцами под одним баобабам.

Дерево живет до четырех тысяч лет и даже дольше. А в Джохаре оно еще молодое: всего несколько столетий. Ствол покрыт серой тонкой корой. Почти круглый год крона в листьях. Лишь в сухой жаркий период, когда земля изнывает от недостатка воды, дерево сбрасывает листву, сберегая тем собственную влагу.

Увидели в реке мы и бегемотов. Целое семейство: шесть животных. Они неподвижно лежали в реке, напоминая гладкие голыши. Иногда лениво поворачивали тупые рыла, открывали огромную пасть. Зной загнал их в реку, и, пребывая в воде, они испытывали блаженство. Наше присутствие их не испугало: они находились на противоположном берегу.

Потом, уже вместе с дедушкой Мохамедом, мы побывали на итальянском кладбище. Под деревьями лежали белые плиты-надгробия с высеченными на них итальянскими именами. Здесь покоились только белые. На высоком памятнике надпись: «Адмирал Луиджи ди Савойя. 1934 г.».

Плантация сахарного тростника еще находится в руках итальянцев и память о своем земляке они берегут. Музей адмирала размещается в красивой вилле. У входа нас встретил немолодой сомалиец в камзоле до пят и белой шапочке на голове.

— Прэго, прэго, сеньоры, — рассыпался он, но при виде старика его большие, навыкате глаза неожиданно сузились.

Стоптанные сандалии, запыленные ноги и простая суковатая палка дедушки Мохамеда не подходили к богатой обстановке дома.

За порогом виллы царила прохлада. В комнате гулял легкий ветерок, обдувая тело приятной свежестью. Манили мягкие кресла. Хотелось упасть в них, откинуться и замереть, наслаждаясь сквозняком.

Сомалиец в камзоле водил нас из комнаты в комнату, останавливался у экспонатов и коротко объяснял.

— Это пистолеты адмирала. Он их носил всегда с собой. — Наш гид достал из кобуры кольт.

Длинные граненые стволы, золотая насечка на рукоятке, массивный барабан с полдюжиной гнезд для патронов. Тяжело и непривычно носить на боку такую тяжесть.

— А это ружья. Граф ходил с ними на охоту.

Ружей много. Курковые и бескурковые, двух- и даже трехствольные, знаменитые «зауэры».

— Здесь была спальня князя. — Гид ввел в темную комнату, половину которой занимала огромная под пологом кровать. Полог защищал хозяина от комаров и москитов. — А это сам адмирал.

С фотографии на нас смотрел высокий, в блестящей форме адмирал с седым благообразным лицом. Большой тонкий нос, проницательный взгляд.

— Это господин? — спросил дедушка Мохамед.

Приблизившись почти вплотную, он внимательно разглядывал фотографию.

— А это его книги, — продолжал гид, подводя к шкафу, уставленному тяжеловесными томами. — Он очень грамотным был, господин. И много читал.

Пояснения были пресны и скучны, слушать их становилось тягостно. И все назойливей чувствовался запах нежилого помещения, какой обычно бывает в редко посещаемых людьми музеях или архивах. Несмотря на прохладу, хотелось, чтобы сомалиец скорей бы кончил рассказ о старом владельце плантации, и можно было бы уйти.

— А это шлем адмирала.

На тумбочке лежал пробковый шлем, традиционный головной убор белого человека в Африке. Сейчас таких не увидишь. Носят панамы, пестрые вязаные шапочки, белые, едва прикрывающие макушку камилавки, фески, соломенные шляпы, но только не шлемы. Шлем напоминает о черном времени колониализма. Он его символ. И сейчас не в ходу.

Поблескивала пожелтевшая от времени, плотно натянутая на пробку шелковая ткань. От нее исходил запах времени. Али взял шлем в руки.

— Капиталист, — он щелкнул пальцем по поверхности: послышался глухой звук пробки.

Он повернулся к своему деду, но тот шел к двери. Шаркали о паркет сношенные сандалии. Неуверенно ступали худые старческие ноги. Плечи сникли, и во всей фигуре вдруг проглянула беспомощность, свойственная долго прожившим на земле людям.

— Авове Мохамед! — окликнул Али. — Авове!

Старик не повернулся.

— Знаешь, Али! Давай и мы уйдем, — немного погодя, предложил я. Пребывание было в тягость. Даже царившая в комнатах прохлада не замечалась. Тленный запах чувствовался все сильней.

Мы поспешно распрощались с гидом, не дослушав его до конца. Он провожал нас до самого выхода. Забегая вперед, услужливо открывал двери, улыбаясь и часто кланяясь.

— Прэго, сеньоры! Прэго!

И тут мы увидели дедушку Мохамеда. Он сидел неподалеку, прямо на земле, в тени высокой пальмы.

— Авове! — окликнул его Али.

Но старик даже не пошевелился. Он оцепенел. Худые руки тяжело лежали на коленях согнутых ног. И застыл взгляд из-под нависших седых бровей его глаз. Мне показалось, что в них слезы.

— Авове, — прошептал в тревоге Али. Он участливо склонился над стариком, бережно коснувшись рукой его плеча. — Авове.

Я стоял в стороне, не решаясь приблизиться. «Что случилось? Чем расстроен дедушка Мохамед?»

Наконец старик нехотя, через силу заговорил, голос его дрожал, а пальцы в волнении перебирали складки маро. Али тяжело вздыхал и сочувственно начал головой.

— Что случилось, Али? — спросил я сомалийца.

Али не ответил. Только усадив старика в автомобиль, он горестно вздохнул и сказал;

— Понимаешь, у дедушки было три сына. Они работали здесь, на плантации. И здесь они умерли. Дедушка увидел шлем и вспомнил их, своих сыновей. Понимаешь? Вспомнил черное время.

ПОСЛЕДНИЙ ЛЕОПАРД

Селение лежало в стороне от дороги, у крутого берега реки. Река начиналась в горах Эфиопии. Приняв сотни больших и малых ручьев, она была широкой, с мутной, желтоватого цвета, водой. А дальше, я знал, приближаясь к океану, река становилась все спокойней. А потом распадалась на множество рукавов. Заболотив огромную площадь, она, так и не впав в океан, исчезала совсем.

Река называлась Веби-Шебели — Леопардовая река. Леопардов в стране действительно много. Они даже на гербе республики: два хищника поддерживают щит с пятиконечной на нем звездой.

Раньше в селение нередко наезжали белолицые охотники, жаждавшие удовлетворить не только охотничью страсть, но и сделать бизнес на шкурах зверя. Шкура леопарда ценится дорого. Одна стоит четырех шкур зебры. И цена на нее продолжает баснословно расти. За нее платят более 600 долларов, а в столице соседней Кении она стоит не менее двух тысяч.

Охотников на этого зверя не так уж много: во всей Африке, по неофициальной статистике, немногим более полутораста человек. Преимущественно это приезжие американцы.

Обычно охотника сопровождали местные жители,

выполнявшие одновременно роль слуг и загонщиков. Они-то в основном обеспечивали белолицему гостю удовлетворение охотничьей страсти.

Об одной такой охоте мне рассказал пожилой Абдалла, с которым я и Али повстречались на берегу Веби-Шебели. Он сидел на толстом стволе нависшего над рекой дерева.

Дерево то ли от ветра, а может, от подземных вод наклонилось, но не упало совсем, а каким-то чудом удержалось над рекой, и тонкие гибкие ветки свисали, и их омывала вода. С противоположного берега, залитого лучами заходящего солнца, неслась неумолчный птичий гвалт. В крутом отвесном берегу темнели сотни высверленных в глине гнезд. И перед ними порхала стая ярко-красных незнакомых птиц с черными хохолками.

— Охотился ли на леопардов, спрашиваешь? Охотился. Страшный и злой зверь. Один оставил о себе память на всю жизнь. Это был мой последний леопард. После я уже не ходил на охоту. Не пошел бы и в тот раз, да соблазнили двести шиллингов…

Волосы охотника густо посеребрены сединой, под глазами сетка морщин. На ногах, словно на черном эбеновом дереве, рельефно выделяются мышцы. Глаза старого охотника застыли. Мне даже показалось, что на них навернулись слезы. Медленно, будто погружаясь в прошлое, он начал рассказ о своей последней охоте…

Гость был высоким, сильным, с сухим лицом и совсем выгоревшими, белесыми волосами. Подкатив на автомобиле к мундуле старейшины, он, не вылезая, подождал, когда тот подойдет.

— Я приехал охотиться на леопардов, — начал белолицый без обиняков. — Мне нужен опытный проводник, хорошо знающий места, где водится зверь. Я уплачу и тебе за помощь и проводнику.

Он небрежно протянул старейшине пятидолларовую бумажку. Тот сразу понял, что перед ним богатый господин. От него не ускользнули многочисленные коробки и тюки в блестящем автомобиле. На такой машине ездят богатые люди.

— Хорошо, хорошо, сеньор! Проводников у нас много, но с вами пойдет самый опытный. Только одного мало, нужно два или три проводника, сеньор. Ведь на охоте все может случиться…

— Сколько же придется тогда каждому платить?

— Сто пятьдесят шиллингов, сеньор, — смекнул старейшина.

Белолицый, обдумывая, уставился в землю:

— Мне нужен один. Я заплачу ему двести.

Автомобиль окружили дети. Они с любопытством поглаживали сверкающие никелем части, трогали колеса, с вожделением заглядывали внутрь. Поодаль судачили о приезжем в пестрых одеждах женщины.

— Абдалла! Эй! Абдалла! — подхватили они, едва старейшина распорядился позвать охотника.

— Абдалла! Абдалла! — бросились мальчишки.

Абдалла жил на окраине селения. Его хижина выглядела бедней остальных.

— Вот что, Абдалла. Мне нужен в охоте помощник. Пойдешь? — белолицый гость посмотрел на сомалийца. — Пойдем вдвоем: ты и я.

Абдалла промолчал. К охоте он был привычен. Бил антилоп, страусов. Случалось убивать львов-людоедов. Но охотиться на леопардов не любил. Он знал повадки этой кошки, не одну изловил. Однако каждый раз испытывал на охоте неприятное чувство леденящей настороженности от возможной встречи в этим зверем.

Нападения леопарда дерзки. Зверь бросался на человека, когда тот совсем не ожидал. Сильное тело, словно торпеда, пролетало в воздухе и в следующий миг уже терзало жертву. И нелегко было обуздать этот сгусток энергии, мускулов и свирепости. Недаром считалось, что после смерти отважных и сильных людей их души переселяются в леопардов. Абдалла этому верил.

— Неужели ты боишься этой кошки? — американец попал в точку: сомалийцы презирают трусов. — А мне говорили, что ты — настоящий охотник.

«Лежебоке даже драка кажется пустяком», — вспомнил сомалиец с детства знакомую поговорку.

— Я хорошо тебе заплачу! — продолжал уговаривать Абдаллу белолицый. — Дам двести шиллингов! Может, ты стал слабей жены? Может, жену вместо тебя пригласить? — Сеньор знал, как уязвить самолюбие охотника. Абдалла молчал.

«Деньги! Двести шиллингов — не пустяк! На них можно купить коз, овец. Да что там! Это и пестрая ткань для Сесильи и детей, и сладости… На плантациях за двести шиллингов нужно работать два-три месяца».

Абдалла долго не соглашался. Не нравился ему этот самоуверенный сеньор с голубыми глазами. Не внушали уверенность даже сильные руки и охотничье трехствольное ружье. Однако проклятые шиллинги заставили согласиться.

Охота проходила успешно. В первый день белый убил старого леопарда.

— Хороша кошка, хороша! — восторгался он, поглаживая пятнистую шкуру зверя. — И шкура, главное, цела! Прямо в пасть! Никаких следов!

На следующий день он убил огромного зверя и с помощью Абдаллы поймал двух детенышей, совсем еще котят. Стрелял в самку, но та, раненая, со страшным рычанием скрылась в зарослях.

— Пойдем, сеньор, пойдем скорей отсюда! — взмолился Абдалла, поспешно затолкав детенышей в мешок. — Беда может быть! Не отдаст так котят зверь.

— Будь здесь! — крикнул охотник и бросился в заросли.

Абдалла остался один, испытывая недоброе предчувствие. Словно живой, шевелился мешок, оттуда неслась жалобный писк. Он хотел было нагнуться, как вблизи послышался шорох. И не успел он оглянуться, как удар в плечо свалил его на землю.

Падая, он успел заметить у самого лица два желтых глаза хищника, свирепо отжатые уши, оскаленную клыками пасть, из которой вырывался рык и зловонное дыхание, Абдалла, напружинившись, схватил зверя за горло. Но в его тело глубоко вонзились когти и стали рвать кожу. Он почувствовал, что левая рука вдруг стала слабеть, делаясь непослушной.

Они катались клубком по земле, человек и зверь, оба истекая кровью. Абдалла пытался было звать на помощь, кричать голубоглазому, но не было сил: из горла вырывалось только тяжелое дыхание.

Наконец Абдалле удалось дотянуться до висевшего на поясе ножа. Вкладывая в удар последние силы, он вонзил нож в тело хищника…

Ярко-огненный шар солнца склонился к горизонту, на землю накатывались сумерки. Плескалась у берега река. По ней плыли сухие ветки, коряги, листья. Громко переговариваясь, по тропинке спускались женщины с кувшинами. Вспуганный, плюхнулся полутораметровым телом ящерицы варан. Течение подхватило его и понесло. Только треугольник головы виднелся из воды.

— А что было потом? — прервал я молчание.

— Потом! Потом попал к белому доктору. В больнице лежал. Долго лежал. Леопард руку сильно попортил. Очень сильно. Думал, что не выживу. Спасибо доктору. Если бы не он, вознесся бы я к аллаху. За это американец отдал доктору двести шиллингов[46], что заработал я на охоте. — Губы Абдаллы искривила горькая усмешка. — Мне пора. Сесиль уже ждет.

Он неловко спрыгнул со ствола и поправил белое полотно своего маро, складки которого скрывали культю руки.

Кисимайо — самый южный город республики. Лежит он за экватором. Собрался я туда в конце июля, предупредив Али дня за два до выезда.

— Не поедем, — покачал водитель головой. — Сейчас на автомобиле ехать нельзя.

И он рассказал историю поездки одного чиновника из Кисимайо. Тот, торопясь по вызову к начальнику в Могадишо, рискнул ехать на лендровере. О своем выезде чиновник предупредил телеграммой, пообещав к вечеру быть на месте. Но в тот день чиновник не приехал. Не было его и на вторые сутки. Прошли еще одни, и тогда на помощь послали тягач. Он-то и выволок лендровер из грязи. Чиновник прибыл в столицу на пятые сутки.

Июль в Сомали — самый холодный месяц. Дует свежий ветер, идут частые ливневые дожди, температура «падает» порой до плюс двадцати восьми градусов. Это сразу чувствуешь, и по вечерам одеваешься потеплей. А о местных жителях и говорить нечего: они кутаются в одеяла, пледы.

Тот, кто думает, что на экваторе постоянный зной и солнце

стоит в зените, ошибается. Следует вспомнить начальный курс географии, где говорится, что земная ось имеет отклонение, а потому экватор по отношению к солнцу тоже смещен. В отличие от географического экватора существует экватор термический. Вот над термическим экватором-то солнце действительно всегда в зените. В июле термический экватор перемещается на юг, удаляясь от Могадишо, и потому наступает «похолодание». Зато в ноябре он приближается, и стоит зной.

Итак, решено было лететь в Кисимайо самолетом.

Не отрываясь, я вглядывался в зеленые массивы лесов и плантаций, искал ориентир, с помощью которого мог бы отыскать воображаемую линию экватора, но мои усилия были тщетны. Только когда внизу показался город и самолет пошел на посадку, я понял, что экватор уже позади, и мы в южном полушарии.

Но все-таки на экваторе я побывал. Мы добрались к нему из Кисимайо на автомобиле.

— Будьте осторожны! Не нарвитесь на слонов, — не то в шутку, не то всерьез предупредили нас.

Накануне губернатору провинции вручили тревожную телеграмму из одного района. В окрестностях местечка появилось с полсотни слонов. Стадо вытоптало посевы, слоны забредали даже в селения. Испуганные жители покинули дома и скрылись в лесу.

«Что делать? — вопрошал недавно назначенный комиссар района. — Убивать слонов нельзя, а они наглеют». Губернатор был поставлен в тупик. Он долго думал, как ответить неопытному комиссару, и наконец послал короткое, не лишенное юмора указание: «Сильней шумите!»

Провинция Джуба — самая южная, животный мир здесь богат. Водятся слоны и жирафы, львы и бегемоты, крокодилы и носороги и даже муха цеце. Признаюсь, собираясь в Африку, больше всего я опасался этой мухи. Известно до двадцати разновидностей мухи цеце. Не берусь утверждать, какая из этих разновидностей именуется «железной», но только при обнаружении этой мухи в помещении все дела откладываются до ее уничтожения. Это не так просто. Она летает быстро и по прямой. Ее трудно поймать, нелегко и убить. Я пробовал на цементном полу раздавить каблуком — безуспешно. Видимо, поэтому и получила она свое название «железной». Обычно, изловив насекомое, его заворачивают в бумагу, вдребезги разбивают пакет камнем, а потом остатки сжигают.

Питается муха кровью животных и людей. Из всех ее разновидностей девять являются переносчиками опасной болезни человека и домашних животных. Кусая, муха вносит в ранку

возбудителя сонной болезни. Вначале человек ощущает боли в затылке, у него повышается температура, опухают шейные железы. Затем проявляются нарушения мозговой деятельности, признаки душевного расстройства, больной худеет, становится сонным и в конечном счете умирает. В настоящее время благодаря усилиям медицины число жертв незначительно.

На юге республики, особенно на реке Джубе, мухой цеце заражена огромная территория. Человек здесь не живет. Зато диких животных полно. Против укусов цеце у них иммунитет. И живут они, таким образом, в своеобразном природном заповеднике.

Дорога из Кисимайо на север на протяжении ста километров отличная: гладкий, наезженный автомобилями асфальт. По обе стороны — плантации. Тяжелые гроздья бананов почти касаются земли.

Навстречу то и дело проносятся автомобили. И удивительно видеть у полотна дороги диких животных. В одном месте в кювете спокойно паслось стадо кабанов. Огромный секач с желтыми клыками и гривой торчащей щетины, равнодушно посмотрел на мчащийся автомобиль и продолжал ковырять землю. Безмятежно стояли поблизости антилопы. Семейство павианов, перейдя дорогу, поторопилось к кустам. Когда же я попытался приблизиться, чтобы сфотографировать их, самец угрожающе повернулся, оскалил зубы. Под гладкой шкурой перекатывались упругие мышцы.

На юге животных множество. Как-то мы пролетали над стадом слонов. Напуганные ревом мотора, животные поспешили в заросли. Но нам видны были их серые спины.

Островками среди плантаций выглядят скопища мундул — плетеных из хвороста хижин с конусообразной крышей.

…Экватора мы достигли неожиданно.

— Вот экваторка, — Али показал на массивный, похожий на пьедестал памятника столб у шоссе.

На макушке столба — металлический указатель с двумя буками: N и S — норд и зюйд. Я стал против столба, расставил пошире ноги: одна нога в северном, другая в южном полушарии. На большее не хватило фантазии. Защелкал фотоаппарат.

Я мысленно пытался перенести отрезок гигантского обруча экватора на асфальт шоссе и не смог. Все было досадно обыденно и привычно!

Мимо, не обращая на нас внимания, прошли из северного в южное полушарие две девчонки-сомалийки. Наверное, они привыкли видеть здесь людей и, конечно же, не осознавали значимости сделанных через экватор шагов. Проносились

автомобили. Они тоже мчались из одного полушария в другое…

В Кисимайо мы осмотрели мясокомбинат, построенный с помощью Советского Союза. Огромные светлые цехи, современное оборудование. Завод выпускает разнообразную продукцию, которая вывозится во многие страны мира. Вначале здесь работали русские, обучавшие сомалийцев, теперь же русских немного, их заменили местные жители.

Мы смотрели на ползущие ленты транспортера, на станки, автоматически начиняющие мясом консервные банки, на смуглокожих людей, уверенно орудующих сложной техникой, и не верилось, что все это происходит в Африке, у экватора.

У одного станка стоял старик. Опершись подбородком о палку, он как завороженный не спускал глаз с рабочего.

Потом, осторожно ступая, подошел к нему, дотронулся до плеча, выразительно показывая на станок. Рабочий осклабился в улыбке, показывая ядрено-белые зубы. Протянул руку и нажал на рычаг. И тотчас лента конвейера остановилась, замер станок, в цехе наступила тишина. Сопровождавший нас инженер подбежал к рабочему:

— Почему остановил ленту?

Тот опять нажал на рычаг — и все загрохотало, все пришло в движение.

Наклонившись, рабочий стал на ухо объяснять инженеру причину остановки, кивая головой в сторону старика сомалийца.

Мы пошли дальше. Уже во дворе Али спросил инженера, почему рабочий остановил ленту.

— Этот старик очень богатый. Он пригнал на комбинат скот. А рабочий несколько лет назад был у него пастухом. Вот он и показывал бывшему хозяину, чему выучился и какая сила заключена в его руках, руках бывшего пастуха.

ХУДОЖНИК АБДИ

Абди проснулся и лежал, не решаясь открыть глаза. Он с сожалением думал о чудном сне, который так внезапно оборвался. И чем сильней он старался вспомнить сон, тем больше ему казалось, что виденное было явью, только с того времени прошло много лет, может, десять, а может, и двенадцать. Тогда еще был жив отец, и жили они в боскалии.

Он пас коз и забрел так далеко, как не заходил никогда раньше. После дождя жара спала, дул свежий ветерок. В лучах солнца искрилась трава. Кустарник и раскинувшие крону зонтом деревья стояли зелеными. Было так красиво, как только бывает в цветных фильмах, что показывают в итальянском кинотеатре.

И вдруг на поляну выплыло странное животное. Оно неловко передвигало длинные ноги и пугливо озиралось, поводя ушами. Между ушами пеньками торчали рожки. Оранжево-бурая с темными пятнами шкура сливалась с зарослями. Выдавала его только маленькая головка на очень длинной шее, выглядывавшая поверх деревьев.

А потом из зарослей показалось еще такое же существо. Только оно было намного меньше первого и едва доходило тому до брюха. Скрытый кустами мальчишка забыл о козах. Никогда еще не приходилось видеть таких зверей. Потом он узнал, что это были жирафы.

И вот теперь он опять увидел во сне странное животное. Выступали чашки колен, гордо выгнутая грудь, переходящая в шею, низко опущенный круп. Метелка хвоста раскачивалась из стороны в сторону, отгоняя назойливых мух…

— Алай-лай-лай! — послышался в утренней тишине голос муллы. — Алай-лай-лай!

Было еще темно. Город спал, но, внизу, под окнами, в узкой улочке, где не могла проехать даже ишачья повозка, уже слышались шаги. Потом прохожий долго и надсадно кашлял, и Абди узнал соседа, промышлявшего в порту случайным заработком. Обремененный не в меру большой семьей, он всегда уходил из дому раньше всех. Возвращался в темноте.

В оконце лениво вползал серый рассвет, и постепенно выступала из темноты стена с облупившейся штукатуркой и темными потеками. Абди знал, что пройдет немного времени, и голоса из тесной улочки ворвутся через единственное оконце в комнату и разбудят сестер и братишек, рядком спящих на дерюжке вдоль стены.

Бесшумно поднялась с лежанки мать. Приблизилась, тихо ступая босыми ногами по цементному полу. Абди, чуть приоткрыв глаза, видел, как она постояла над ним, а потом осторожно коснулась плеча.

— Вставай! Не спишь ведь.

Весной Абди исполнилось семнадцать. После смерти отца он стал в семье старшим.

Абди открыл глаза и, сожалея о вспугнутом сне, поднялся. Сегодня нужно было нести торговцу Осману маски, которые он накануне вырезал.

Изготовление масок давало заработок. На него и жила семья. Кое-что приносили братишки, заработав на улице за весь день два-три шиллинга. За каждую маску Абди получал по семь, а то и десять шиллингов.

Маски он наловчился делать быстро. Брал пластину пахучего камфарного дерева, выдалбливал стамеской середину, с другой стороны стачивал края, придавая изогнутость. Продолжал работу острым ножом.

Дерево оживало, появлялись едва уловимые черточки лица. Лезвие послушно врезалось в податливое дерево. Постепенно контуры лица проступали все отчетливей. Юноша чувствовал, как придать маске свирепость, как сделать ее добродушной, а как — глуповато-спокойной. Потом он выпиливал узкой пилкой отверстия на месте глаз и рта, шлифовал и полировал ее. Дерево издавало приятный запах, напоминавший запах ладана. И от сознания того, что в дереве удалось воплотить задуманное,

становилось радостно и легко.

Когда он направился к Осману, солнце уже взошло. Громыхали засовы и железные двери лавок. Из баров тянуло ароматом кофе. Абди вдруг почувствовал голод и вспомнил, что накануне вечером он не ел, выпил только чашечку чая. В желудке сосало, перед глазами плавали цветные круги.

«На обратном пути непременно зайду выпить кофе», — решил Абди и ускорил шаги. Проходя мимо магазина, где продавались книги и открытки, он увидел на витрине пестрые фотографии. На одной было то самое высоченное животное, что приснилось ему ночью. Животное было таким высоким, что голова его возвышалась над деревом.

«Вырезать бы такого!» — мелькнула мысль. Забыв о голоде, Абди долго разглядывал фотографию, стараясь запомнить каждую частицу несуразного тела жирафа.

— Ты? — вместо приветствия произнес Осман, когда юноша зашел в лавку.

Худой и сутулый, с длинным лицом и большим крючковатым носом, торговец напоминал хищную птицу, каких видел Абди в детстве. Почуяв наживу, они слетались к деревне и неподвижно сидели черными пнями. Выждав, когда люди уходили, они набрасывались на останки верблюда или коровы и с клекотом рвали и пожирали мясо.

Осман владел лавчонкой, в которой продавалось все, что попадало ему в руки. Были здесь пестрые итальянские ткани и игральные карты из Гонконга, японские транзисторы и китайские ручки, охотничьи ножи, обувь и фески. Товар был контрабандный, вывезенный из Адена, и Осман скупал его тайком в полцены.

— Показывай!

Абди положил маски на прилавок. Торговец небрежно повертел их в костлявых руках и тут же упрятал под прилавок. Молча достал замусоленную десятишиллинговую бумажку, сверху бросил еще две монеты.

— Получай!

— И это все?

— А ты думал сколько?

Абди случайно на пляже видел, как незнакомый парень продавал американцу маску. Парень запросил сорок шиллингов. Поторговавшись, они сошлись на тридцати. Это была маска, сделанная им, Абди. Он сразу узнал ее.

— Я же работал три дня!

— Не хочешь, забирай назад!

Абди протянул было руку, но вдруг вспомнил, что Осман снабжает его брусками, и рука опустилась. Порывать отношения с

торговцем Абди не решился. Не так просто найти в городе эбеновое или камфарное дерево. Их привозят Осману с экватора.

— Бери уж… — Абди положил деньги в карман. — Давай еще брусков. Впрочем, лучше я сам выберу.

Он долго искал подходящий брусок, чтобы вырезать из него фигурку животного. Эбена — черного и твердого, как кость, дерева — не оказалось, зато попался бурый брусок. Абди вертел его в руках, приглядывался, нет ли в нем трещин и сучков, и можно ли вырезать задуманное. Брусок был подходящим.

— Что из него будешь делать?

— Не знаю. — Абди не хотел раскрывать своего секрета. — Что получится.

Он так спешил домой, что забыл зайти в бар. Ему хотелось поскорее вырезать жирафа.

Выпив чашку остывшего чая с булкой, он засел за работу. Вокруг него всегда вертелись братишки, расспрашивая обо всем, и он с охотой вел с ними разговор. Иногда помогал им выстругивать палочки.

Но теперь братишки мешали сосредоточиться, он отмахивался от них и раз даже прикрикнул на самого любопытного.

Абди работал с таким азартом, какого не испытывал давно. Вначале он задумал вырезать одну фигурку, но, повертев брусок в руках, понял, что может получиться еще и детеныш.

Только к концу второго дня фигурки животных были вчерне готовы. Оставалось еще отшлифовать поверхность, нанести темные пятна, как у настоящих жирафов, покрыть лаком. Но и такие, они удивительно походили на живых. Самка настороженно вытянула шею, словно прислушиваясь к чему-то. Небольшие уши подняты. Во всей фигуре проступала тревога, вызванная близкой опасностью. Казалось, еще миг и самка бросится прочь, уводя за собой детеныша.

Абди долго всматривался, потом в раздумье покачал головой. В ящике, где хранились инструменты, он нашел шкуру антилопы, вырезал из нее кусочки кожи с шерстью. Срезав деревянные уши, он на их место приладил эти кусочки. По размерам они были немного великоваты, но, к удивлению, от этого животные не потеряли естественности.

Как ни жалко было расставаться со статуэткой, пришлось нести ее Осману. Едва он вышел из закоулка на проспект, как рядом с ним остановился фиат. Человек за рулем окликнул его. Он повертел изделие.

— Куанто коста?[47]

Абди замешкался. Никогда он не торговал. В памяти всплыли

три напряженных дня работы, полуголодные братишки и сестренки, вечно озабоченная мать. Неожиданно для себя он назвал цену и сам испугался: шестьдесят шиллингов.

— Тропо каро[48], — ответил незнакомец и без сожаления возвратил статуэтку. — Тропо каро.

Не прошел Абди и двух десятков шагов, как его окликнули снова.

— Продаете?

Он сразу узнал русского. Тот внимательно разглядывал изделие.

— Вы их сами резали?

— Да. — Абди показал ладони рук с мозолями.

— Сколько просите?

— Пятьдесят шиллингов.

Русский, не торгуясь, достал деньги. Абди от радости готов был кричать: сразу получить столько денег! Он уже было повернулся к дому, но покупатель придержал его.

— Вас как звать? Абди? У вас, Абди, несомненно талант художника. Вам надо учиться рисовать. Хотите, я помогу вам! Приходите в советский культурный центр. Там спросите художника. Согласны?

Конечно же, он согласен. Абди еще никто не предлагал учиться. Даже не верилось, что так удачно начался день.

— Эй, Абди! — На противоположной стороне улицы стоял Осман. — Иди сюда!

Настроение у юноши разом пропало: торговец видел, как он продавал фигурку.

— Сколько получил? — Осман испытующе смотрел на Абди.

— Вот. — Абди достал деньги.

Он не успел заметить, как деньги оказались в руках торговца.

— Это тебе за работу, а это за дерево, — он протянул Абди двадцатишиллинговую бумажку. Остальные положил в карман. И пошел, оставив юношу в полном недоумении.

— Капиталиста! — Абди в сердцах сплюнул вслед торговцу.

С Абди я повстречался в нашем культурном центре. Он старательно работал кисточкой, выводя на бумаге тонкий линии рисунка. Я присмотрелся: светлая ночь в боскалии, огромная луна. На фоне неба силуэт охотника, подбирающегося к зверю. Зверя не видно, но, глядя на рисунок, веришь, что лев, а может, и леопард, притаился где-то рядом.

Голова юноши повязана бинтом. На белом бинте выступило бурое пятнышко крови.

— Что такое?

— Камнем ударили. Когда я вечером шел домой.

— Может, случайно?

— Нет, не случайно. Это торговец Осман подговорил. Я перестал ему носить маски, стал ходить сюда, учусь рисовать. Вот и решил он отомстить. Только все равно к Осману я больше не пойду…

И он рассказал мне всю историю с фигурками жирафов.

После этого я не раз встречался с Абди и даже приобрел несколько его картин. Теперь он с увлечением рисовал на бумаге и, кажется, делал в этом заметные успехи. Люди с удовольствием покупали его рисунки, в которых изображались сценки сомалийского быта.

А в последний раз я видел Абди в рядах демонстрантов у английского посольства. Вместе с другими юношами и девушками он протестовал против отправки Великобританией оружия южноафриканским расистам. Он нес плакат с карикатурой на английского министра. И несомненно, сам рисовал плакат. Я мысленно пожелал ему: «Будь счастлив, Абди!»

notes

Примечания

1

Тарга (туарег) — по-финикийски голубой.

2

Национальная шаль эфиопов, изготовленная из белой кустарной ткани (Прим. авт.).

3

20-й год правления СЁВА — 1945 г. (япон. система летосчисления).

4

Особо вырезанные кусочки бумаги (здесь и дальше в рассказе перевод с японского).

5

Староста.

6

Камчатка.

7

Ура!

8

Подпоручик — офицерский чин.

9

Офицер.

10

Капитан.

11

Древнее название Японии.

12

Деревянные сандалии.

13

Поручик в японской армии.

14

Господин.

15

Большевик.

16

Печеные колобки из риса.

17

Соломенные сандалии.

18

Здравствуйте, господин офицер.

19

Не понимаю, господин офицер.

20

Кошка.

21

Дорогой, быстро пошли обедать! Хорошо?

22

Господин Такита! Русские хорошие. Русские солдаты хорошие.

23

Господин Кисурин хороший. Русские солдаты хорошие.

Кушайте, пожалуйста.

25

Спасибо, русский, спасибо.

26

Возглас удивления.

27

Не знаю, господин офицер! Не знаю!

28

Князь, феодал.

29

Смирно!

30

Вольно!

31

Праздник хризантем (9 сентября).

32

Медаль семьям погибших воинов.

33

Фельдфебель, старшина.

34

Голотурия — морской огурец, животное типа иглокожих.

35

Император.

36

Керосин.

37

Родился.

38

Девушка.

39

Мальчик.

40

Сын.

41

Богиня солнца Аматерасу.

42

Победа! Ура!

43

Не (отриц. частица).

Воровать.

45

Теперь мне вовек с вами не рассчитаться.

46

Сто сомалийских шиллингов — немногим больше двенадцати рублей.

Сколько стоит? (итал.).

Очень дорого (итал.).